

Вячеслав Пьецух

Точка зрения

ДУРНИ И СУМАСШЕДШИЕ

НЕУСВОЕННЫЕ УРОКИ РОДНОЙ ИСТОРИИ



Вячеслав Алексеевич Пьецух
Дурни и сумасшедшие.
Неусвоенные уроки родной истории

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162543

Пьецух В. Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории: НЦ ЭНАС; Москва; 2006

ISBN 5-93196-699-4

Аннотация

Отчего «земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет»? И что именно мешает нам усвоить уроки родной истории? Наши писатели и вообще все мыслящие люди не первое столетие задаются этими вопросами.

Вячеслав Пьецух по-своему отвечает на них в новой книге, продолжающей главную – Русскую – тему его творчества.

Содержание

От издательства	4
Дурни и сумасшедшие	5
От Кюстина до наших дней	11
Открытие России	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Вячеслав ПЬЕЦУХ

ДУРНИ И СУМАСШЕДШИЕ

Неусвоенные уроки родной истории

От издательства

Книги серии «Точка зрения», как правило, предваряются текстом «От издательства». В данном случае издательство оказалось в затруднении: в самом деле, что можно предположить сочинениям Вячеслава Пьецуха, с его высоким качеством мысли, где что ни фраза – то афоризм?

По-видимому, лучше всего привести несколько таких цитат, и читателю сразу станет ясно, о чем эта книга и какова **точка зрения** автора.

«...Россия такая отъявленная страна, что стоит почтенному литератору задеть судьбу крепостной собачки, как сразу на повестку дня напрашивается вопрос о немедленной смене государственного устройства...»

«А чего ради мы страдали эти семьдесят с лишним лет? – дабы сполна исполнилось пророчество Петра Яковлевича Чаадаева: Россия выдумана для того, чтобы уведомить человечество, как не годится жить. В сущности, миссия эта необходимая, даже почетная в своем роде, тем более что на свете есть много стран, у которых вообще нет миссий, тем более что дело-то сделано и, кажется, смело можно надеяться: горький урок не пройдет бесследно. Кабы не та кручина, что умные люди повсеместно наперечет».

«Спору нет, мы вороваты, не умеем работать, безобразно содержим свои города и веси, но все-таки слишком многое говорит за то, что мы суть последние европейцы на сей земле... Мы ориентированы широко, даже всемирно, и нас остро интересует движение французской литературы, здоровье американского президента, погода на Соломоновых островах».

«...русский народ точно талантлив, даже и чересчур. В том смысле чересчур, что если ему потребуется поднять сельскохозяйственное производство, он не ограничится передовыми агроприемами, а еще выдумает трудовень, статью «за колоски», потребкооперацию и кашу из топора».

«...как нация мы еще не сложились, и, значит, у нас еще многое впереди. Сдается, что третье тысячелетие от рождения Христова будет тысячелетием России, поскольку все наши беды от молодости, а молодость – это сначала дурь».

«Недаром Шопенгауэр говорил, что в этом мире почти никого нет, кроме сумасшедших и дураков».

А еще просто: **«Во страна!»**

Наверное, никто не преподаст нам уроки родной истории лучше замечательного русского писателя Вячеслава Пьецуха.

Дурни и сумасшедшие

Дурни – это, понятно, мы: добывающие хлеб в поте лица своего, страждущие, обделенные, совестливые, коротающие жизнь в унылых очередях и при этом охотно верящие каждому неординарному шалопаю, который бережит наши раны и одновременно навевает златые сны. Самое показательное, как разложишь понятие «дурень» на составные, заключается в том, что к обыкновенным повесам с ораторскими способностями мы относимся более или менее хладнокровно, в духе поговорки «Мели, Емеля, твоя неделя», но стоит ему выдвинуть какую-нибудь умопомрачительную теорию, сулящую, например, моментальное построение государства всеобщего благоденствия, либо пообещать корякам остров Ньюфаундленд, либо сообщить нам, будто энергетический кризис спровоцировали цыгане, как мы, дурни, сразу угадываем в нем мессию и прямо шалеем перед величием его бреда. Такую нашу дурость вот чем следует объяснить: обыкновенный человек, тот самый совестливый, страждущий, обездоленный, и особенно если он русской фабрикации человек – тут все то же самое, но в квадрате, – кошкой своей, и той стесняется распорядиться, поскольку он мыслит простыми нравственными категориями, и если чем готов жертвовать, так собой; естественно, этот дурень будет благоговеть перед существом как бы неземного происхождения, которому ничего не стоит ввергнуть миллионы людей в кровопролитие из самых смутных соображений, покуситься на очень уж отдаленную территорию, а то выдумать звание «Друг детей»; естественно, дурень, сбитый с толку такой исполинской наглостью, называет это существо исторической личностью, даже гением, и склонен поклоняться ему, как копты поклоняются крокодилам. К тому же мы, дурни, обычно слабы, ибо нравственны, и соединяться в стаи нам ни к чему, а гении непобедимо сильны единством противоположностей, и они терроризируют нас, как на зоне десяток урок терроризирует тысячи «мужиков».

Сумасшедшие же – это... вообще сумасшедших гораздо больше, чем принято полагать. Если исходить из того, что по некоторым решающим показателям человечество обретается вне природы; что каждый человек рождается безукоризненно нравственным, поскольку, по крайней мере, первые десять лет жизни он только любит и опасается, а способность к злодейству просыпается в нем тогда, когда он научается ненавидеть и превратно соображать; что народные симпатии испокон веков были на стороне праведников; что и в самую подлую, предрасполагающую годину грабит и убивает даже не каждый сотый, то само собой приходит на мысль: нравственность – норма, безнравственность – аномалия. Но тогда получается, что убийцы, насильники, воры, просто злостные особи, способные изувечить ближнего, хотя бы и поделом, суть в той или иной степени сумасшедшие, – причем не в фигуральном смысле сумасшедшие, а в самом непосредственном, медицинском, ибо они отрицают идею вида, как корова, дающая бензин вместо молока, отрицает идею млекопитания, а суп из гвоздей – идею кулинарии; нарушения в этическом коде, правда, не показывают такой яркой симптоматики, как дебилность, но поскольку даже ворон ворону глаза не выклюет, постольку склонность к тяжкому преступлению может означать только сублимированное душевное нездоровье. Психиатры с этим, конечно, не согласятся, да ведь психиатрия – занятие темное, более искусство, чем научная дисциплина, и недаром она с Парацельса, в сущности, не продвинулась ни на шаг. Ведь у психиатров как: если выродок, зарезавший одиннадцать человек, способен определить день недели и знает, в каком городе он живет, экспертная комиссия его признает нормальным – то есть здравомыслящим и душевно здоровым объявляется таинственное существо, зарезавшее одиннадцать человек, но зато отличающее среду от четверга, а это получается то же самое, как если провозгласить слонотопом Ивана на том основании, что оба они работают из-под палки и получают за труды сущую ерунду... Между тем, даже имея за плечами только среднее образование, легко определить больное

человекоподобное существо, поскольку у него души нет, о чем, в частности, свидетельствует злобно-тупое выражение глаз и нагло-вкрадчивые повадки.

Политики, особенно из борцов, сдается, тоже относятся к скрытно умалишенным. Во всяком случае, недаром так много общего между уголовниками крови и политиками, особенно из борцов, – то же их единит большое презрение к личности человека, к его благу и самой жизни, и с одинаковой легкостью они ворочают судьбами детей Божьих ради удовлетворения собственных интересов, и так же они чванливы по отношению к «массам», но самое главное, те и другие физически не в состоянии жить здорово и заурядно, то есть просто-напросто наслаждаться процессом личного бытия, в чем, собственно, и заключается его смысл, сформулированный еще умницей Лафатером, а все им подай жизнь бурную, исключительную, наполненную роковыми поворотами и драматическими событиями, чтобы уж «либо грудь в крестах, либо голова в кустах»; а жизнь же обыкновенная, малоромантичная, наполненная законными удовольствиями и праведными трудами, вызывает у них непонятное отвращение, тем более настораживающее, что обыденное существование – вовсе не удел посредственности и не следствие неудач, а роль, завещанная от Бога. Сказано же: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», иными словами, это мы, трудящиеся, страждущие, обделенные суть хозяева на планете, ее устроители и кормильцы, и не Лев Давыдович Троцкий творец истории, а плотник Иванов и сапожник из Арзамаса. По крайней мере, безвестный поэт Хвостов получал не меньше удовольствия от литературных трудов, чем Пушкин, Колумба судьба отблагодарила болезнью и нищетой, Спиноза горько жалел о том, что пренебрег аптекарским ремеслом, и вообще великие мира сего были не счастливее «малых сих», потому что жизнь дается, наверное, для того, чтобы наслаждаться и созидать, не обязательно привлекая к себе общественное внимание, а не затем, чтобы бегать от милиции, бороться против закона всемирного тяготения, маяться по тюрьмам и чтобы тебе в конце концов проломили голову колуном. И только тогда мы достигнем счастья, когда здоровая психика станет вещью обыкновенной, как карандаш, то есть когда мы освободимся от детского тщеславия и суетных устремлений.

Это еще Федор Михайлович Достоевский прозрел, что политики и урки, в сущности, близнецы-братья, выведя Родиона Раскольникова, который легко соединил в себе бытовую уголовщину и эгополитическую идею; замечательно, что этот нервный и озлобленный недучка, который в наше время, поди, таскался бы по редакциям с невразумительными стихами и кончил бы тем, что учредил бы несуразную партию, если бы прежде не зарезал какую-нибудь вдову за бутылку водки, и преступление свое совершил в невменяемом состоянии, и, главное, презрел награбленный материал. Ведь вор крадет не оттого, что хочет сделать первоначальное накопление капитала, и даже не оттого, что у него, бедняги, руки приделаны кое-как, а что он ненавидит естественную жизнь и психически нормального человека, что ему легче в тюрьму сесть, чем обтесать бревно на общих основаниях с плотником Ивановым; и насильник грабит и убивает ради собственного удовольствия, и не по той причине, что ему иначе противно жить, а по той причине, что отсутствие души погружает его в злобное беспокойство, и посему для него почти не имеет значения награбленный материал. То же самое и политики: они, конечно, могут исходить из самых возвышенных побуждений, могут, напротив, ставить перед собой противоестественные задачи, но всегда первопричиной их деятельности будет болезненное стремление выйти за рамки обычной жизни и подняться до тех высот, с которых у нас отменяются физические законы. История революционного движения в России доказывает, что это именно так и есть – не нужно быть очень умным человеком, чтобы сообразить: 120 блажных поручиков не в состоянии превратить феодальную империю в республиканское государство, потому что для этого помимо добрых намерений требуются соответствующие экономические предпосылки, третье сословие, сколько-нибудь грамотное население, способное ориентироваться в политической обстановке, и даже если

бы эти 120 поручиков победили, Россия все равно вернулась бы к тирании как к единственно возможному тогда способу социального бытия; не нужно быть очень умным человеком, чтобы сообразить: индивидуальный террор, осуществляемый десятком-другим пламенных юношей против высших чиновников государства, не может развалить организацию власти, а лишь обернется бессмысленными жертвами с обеих сторон и дискредитацией всего демократического движения; наконец, не нужно быть великим умником, чтобы сообразить: нельзя сначала учредить общество равного благоденствия, а затем приступить к воспитанию «нового человека», ибо прежний, беспорядочный человек, творящий подлое бытие, которое определяет соответствующее сознание, непременно идею этого общества извратит, до полной противоположности загаданному изгадит да извратит, так что совсем не случайно вернулись мы на круги своя, в весну семнадцатого года, к дооктябрьскому строю жизни. Из всего этого вытекает, что наши политики-революционисты, в отличие от политиков-эволюционистов, никогда не соизмеряли побуждения со средствами, желаемое с возможным, что ими руководил не трезвый расчет, но в лучшем случае личное благородство, не позволяющее мириться с пакостной государственностью российской, а поскольку это были люди в большинстве своем отнюдь не глупые, хорошо образованные и неверующие, невольно приходишь к мысли: что-то тут не так, кажется, налицо то самое нехорошее беспокойство, которое выбивает человека из накатанной колеи. Это подозрение тем более основательно, что часто борцу неважно, какая волна поднимает его на высоты, откуда у нас отменяются физические законы, и, в сущности, дело случая, какая ему выпадает роль, по крайней мере, у нас не диковинка превращение правоверного большевика в махрового националиста, а министра просвещения в палача; да еще политики в России строго блюдут Марксов закон отрицания отрицания в том, правда, смысле, что они последовательно вытаптывают посев своего предшественника, толкутся на одних и тех же скудеющих площадях, почти не продвигаясь по пути общественного прогресса, и поэтому российская внутренняя политика больше похожа на слепого одра, который ходит по кругу на мукомольне. Ведь если не брать в расчет качественную сторону дела, то вот как будет выглядеть наша история за последнюю сотню лет: Александр II дал стране относительную свободу, Александр III свернул на тоталитарный режим, Николай II дал стране относительную свободу, Ленин свернул на тоталитарный режим, Хрущев дал стране относительную свободу, Брежнев свернул на тоталитарный режим, Горбачев дал стране относительную свободу, но уже показали себя борцы, готовые продолжить укоренившуюся традицию. И не так мозжит от любопытства, что там, дескать, за новый хан Батый, расплевавшийся со скромной специальностью счетовода, несет нам иго из грозной мглы, не так огорчает вопрос – может быть, мы действительно дикари и нам нельзя давать даже относительную свободу, поскольку она у нас вечно выливается в полoweцкие пляски, в отвратительную вакханалию бандитов и дураков, как терзает недоумение: а стоит ли вся эта канитель миллионов загубленных жизней, и что это за история, похожая на круговорот воды в природе, но только со знаком минус, и кто такие эти борцы, раз за разом разбивающие сосуд отечественной государственности, который затем приходится склеивать потом и кровью нашего отчаянного народа? Ответ, предположительно, будет тот, что эта канитель не стоит выеденного яйца, что столетняя наша история есть плод творчества величайших бездельников и редкостных недотеп, что сами борцы – некоторым образом сумасшедшие, потому что им важна не идея, не результат, не процесс и даже не личная выгода, а важно им, хоть душа вон, показаться человечеству в каком-нибудь причудливом, свежем виде; за этот диагноз говорит, например, то грешное предположение, что Хрущев мог вполне выступить в роли Сталина, родись он немногим раньше, а Ленин, родись он значительно позже, мог взять на себя освободительную миссию Горбачева. Тут поневоле взгрустнешь о монархической форме правления, которая, по крайней мере, напрочь отрешает сапожников да пирожников, страдающих манией величия, от государственного руля.

Между тем серьезный политик тот, кто всего-навсего сверяет бытовое время с астрономическим, аккуратно подзаводит часы и не подпускает к ним шалую ребятню, рядовой слушатель истории, которого мы не знаем, которого нам и знать-то вроде бы ни к чему, потому что он скромно делает свое дело, а мы свое. Да в том-то все наше историческое несчастье, что восточнее Немана такие угодники издревле были наперечет, что у нас политик – все больше любитель поковырять пальцем в часовом механизме и попереводить стрелки туда-сюда, из-за чего он нам представляется фигурой первостепенной, главенствующей над всем, деятелем как бы даже неземного происхождения, хотя бы он через пень-колоду объяснялся по-русски и слыхом не слыхивал о Шекспире. Даром что наша пословица «Бог шельму метит» намекает на то, что вовсе не трудно распознать готового пациента и прямое детище сатаны; будь этот «герой всех времен и народов» самой чарующей внешности – а он обыкновенно дьявольски привлекателен – всегда в нем найдется нечто изобличающее натуру, вроде непропорциональной головы Ленина, сухой ручки Сталина, мертвецкого лица Кальвина или смешного пуза Наполеона. Даром что сделаться выдающимся политиком – это все же не теорию относительности сочинить, у нас это дело простое, плевое, стоит только сказать по телевизору одну и ту же глупость шестнадцать раз, восславить политическую платформу Ивана Грозного, предъявить умопомрачительные претензии к сопредельному государству – и вот вы уже кумир, о котором судачат многие миллионы. А впрочем, понятно, почему политик вызывает у русского человека острый и никогда не остывающий интерес: потому что у нас не Греция, и от любого выскочки, от какого-нибудь даже отдельно взятого желчного пузыря зависит каждый час нашей искрометной жизни.

Хотя и то верно, что разные бывают политики, встречаются среди них и великие создатели и редкие проходимцы, и, конечно, Герцена со Ждановым не сравнишь, однако они все же одного поля ягоды, как ни чудовищно это вымолвить, только первый, допустим, морошка, а второй, уповательно, бузина. Ведь оба они стремились перекроить действительность на свой лад, пренебрегая богоданными историческими законами, как то: один желал для России социалистическую республику, тогда как она была невозможна и не нужна; другой же, кровь из носу, строил военизированную культуру, лукаво называемую пролетарской, которая нелепа по своей сути, как квадратное колесо. В том-то все и дело, что каким политиком ни будь психически неуравновешенный человек, дурным или благонамеренным, расчетливым или без царя в голове, занятие это в высшей степени праздное и бессмысленное, ибо нельзя способствовать ходу солнца и противиться Антарктиде, ибо течение и все без изъятия политические превращения предопределены Богом Отцом, какового можно квалифицировать и как объективные законы исторического развития, так что правы марксисты, отрицающие роль личности в поступательном движении человечества за исключением той, что невзначай попадает в масть.

Да только, на беду, таким образом устроены политики из борцов, зовущие народы вперед, назад, вбок и закоулками, что им закон не писан, что у них, как говорится, шило в известном месте, и по причине притупленного душевного нездоровья их все время подмывает залить кровью алтарь отечества во имя, например, общественной собственности на средства производства, даром что всего через семьдесят лет им снова потребуются хозяева, или на предмет черноморских проливов, или ради возврата к рабскому состоянию, предварительной цензуре, телесным наказаниям, таможенному флагу, языческому пантеону, – словом, либо в завтра, либо в позавчера. И что самое досадное, этих борцов и наказывать-то по-настоящему невозможно, так как, во-первых, политический бандитизм обычно ненаказуем, а во-вторых, ну что ты с ним поделаешь, если он сумасшедший и сам не ведает, что творит. До поры до времени томится такой юродивый в безвестности, прозябает, пакостничая по мелочам, положим, обличая тех разбойников, которые в тот момент стоят у государственного штурвала, а то что-нибудь сочиняет и таскается по редакциям, но вот наступает

великий день, когда этот шалопай расправляет крылья: а подать сюда Карабах! – и начинается продолжительная война, которая так ничем и закончится, ну ни один квадратный метр земли не сдвинется со своего места, несмотря на тысячи трупов и сожженные города; или: а слабо реорганизовать армию по образцам четырнадцатого столетия! – и дико облаченные молодцы бросаются пороть граждан за непоказанный образ мыслей, а утомившись, садятся писать обидное письмо турецкому султану, в результате которого смиренное соседнее государство приводит свои вооруженные силы в повышенную готовность; или: а вот мы возродим Сибирское ханство во главе с потомком хана Кучума, который, правда, на данный момент тачает сапоги в городе Арзамасе!.. – и уже калятся по кухням наконечники стрел, вспоминаются доисторические обиды, приходят в движение взбалмошные нефтяники и летит с постамента памятник Ермаку. И хотя последнему двоечнику понятно, что невозможно сдвинуть с места Эльбрус, даже если положить на это дело жизни нескольких поколений, борец ничтоже сумняшеся и соответствующую братию образует, и атомной бомбой обзаведется, да, пожалуй, еще и на ближайших выборах победит. То, что сумасшедшие норовят воплотить в действительность свои навязчивые идеи, – это понятно и особых нареканий не вызывает, но мы-то, дурни, здесь при чем, точнее сказать, зачем мы потакаем кровавым бредням? Или уж на то мы и дурни, чтобы как один человек подниматься по зову каждого бедолаги, которому невтерпеж показать миру, дескать, поглядите, каков орел?.. Наверное, так и есть, потому что иначе не объяснишь дурацкую нашу должность, ну, хотя бы в деле развала СССР: если исходить из того, что государственная независимость это не то, что хочется, а то, что можется, нужно быть, конечно, редкими обормотами, чтобы привести к власти скрытно умалишенных, которые устроят нам посиделки у разбитого корыта, которые, кто в «административном восторге», кто со зла, кто с похмелья, расколют на куски естественно сложившуюся державу, собственно, того ради, что некогда счетоводам лестно преобразиться в президентов, вице-президентов, министров и разных атташе. Но, с другой стороны, «что с возу упало, то пропало»; по той простой причине, что всему свой срок, кануло в Лету Вавилонское царство, держава Карла Великого, Китайская, Британская, Французская империи, теперь вот Советская, как бы социалистическая, империя приказала долго жить, однако пытаться восстановить ее на прежних основаниях – только беса тешить, потому что у этих попыток будет единственный результат: кровь. Наконец, вполне естественным был распад нашего естественно сложившегося государства: поскольку рано или поздно, а нужно было кончать с феодальными формами бытия – ведь даже в Африке есть цивилизованные страны, где чтут правовые нормы и можно легко купить вареную колбасу; поскольку переход из XIV столетия в XX предусматривает широкие демократические свободы, которыми неминуемо воспользуются народы, прежде не имевшие своей государственности в полном смысле, но имеющие множество претендентов на мировую известность и разные завлекательные посты; поскольку распада Советской империи следовало ожидать. Другое дело, что альянс дурня и сумасшедшего обеспечил летаргию исполнительной власти, хозяйственную разруху вместо вольного рынка и анархию вместо свободы, в центре и на местах, а тут уж ничего не поделаешь – либо феодальная империя, либо здоровая жизнь, соответствующая нормам современной цивилизации. Конечно, жалко былой державы, конечно, зло берет на кишиневских да киевских башибузуков, конечно, страшно, когда рушится привычный порядок жизни, но куда страшнее, когда миллионы дурней под водительством сумасшедших покушаются на закон всемирного тяготения, мечтая вернуться в родное стойло, к привычным пустым яслям, под начало душевнобольных радетелей, которых хлебом не корми, дай только на наших костях возвыситься над безвестностью. То есть сумасшедшие наши не такие уж сумасшедшие, потому что они знают, чего хотят и как задеть публику за живое, например, указав на биржевых жуликов как источник бед, тем более что они точно жулики-то и есть, но дурни – прямые

дурни, ибо они зажигательны и доверчивы, как младенцы, так что в другой раз и не разберешь, где сумасшедшие, а где дурни.

От Кюстина до наших дней

Полтора века тому назад маркиз Астольф де Кюстин, парижанин и роялист, посетил наше отечество и по следам своего путешествия написал книгу «Россия в 1839 году». Пожил он в Санкт-Петербурге, побывал в Москве, съездил на Волгу и в результате сочинил такую жестокую критику на российские порядки, что до самого последнего времени эта книга была формально запрещена. Тем не менее кто только не писал на нее опровержение, из читавших и не читавших: и граф Бутурлин, и революционер Герцен, и тонкий лирик Тютчев, и сравнительно жулик Греч. Вот и мы туда же, то есть и нам желательно уличить пасквилянта в натяжках и клевете. Тут уж ничего не поделаешь, поскольку в историческом плане мы народ злопамятный, нам даже поражения на реке Калке простить басурманам неумоготу.

Обзор сочинения де Кюстина сейчас представляется тем более любопытным, что подозрительно живучи наши российские порядки, и хотелось бы выяснить: движемся ли мы куда-нибудь как этический феномен или мы не движемся никуда. Ведь и при государе Николае Павловиче вольное слово было под запретом, и на нашем веку, помнится, на каждое вольное слово имелась своя статья. И прежде писались опровержения на нечитанные книги, и в наше время громили сочинения, которые нельзя было ни в библиотеке позаимствовать, ни купить. И раньше могучая империя, как черт ладана, боялась художественной прозы, и наши большевички, полмира подмявшие под себя, больше опасались происков по литературной линии, чем по линии ЦРУ. Это только сейчас государство существует без оглядки на изящную словесность, – так сказать, наша собака лает, их караван идет.

Характернейшая черта сочинения де Кюстина состоит в том, что тут каждый пассаж, как бусинки на нитку, нанизан на нелюбовь автора к России, причем априорную и берущуюся неведомо из чего. Описывает ли он двор русского императора, – по его признанию, самый блестящий двор в Европе, – в каждом диаманте на шее какой-нибудь русской красавицы ему мнится слеза недоимщика, в каждой рубине чудится кровь раба. Если он рассказывает о пароходе «Николай I», быстроходнейшем судне в мире, то обязательно упомянет, что на нем случился большой пожар. Санкт-Петербург по Кюстину – самый величественный город Восточного полушария, но он построен на гиблых болотах и волею палача. Русские от природы красивы и элегантны, но если хорошенько их поскрести, наружу вылезет татарин, а то медведь. Ездят тут быстро, как нигде, но такая езда вредна для легких и от нее постоянно ломается экипаж. Ну не любит де Кюстин Россию и все русское, хоть ты что!

А ведь нас, действительно, все не любят, от века до наших дней и от китайцев до англичан. Да и за что нас, спрашивается, любить? Разве можно питать симпатию к той стране, где неписанные законы сильнее писаных, где при поголовной бедности и доисторических урожаях существует самая многочисленная армия в мире, где основной народный промысел – стяжательство в разных видах, можно купить любого чиновника, и дорожная милиция побирается день и ночь...

То есть любить-то можно, и даже должно, но для этого нужно быть человеком широким, грамотным и в себе. Деревни наши неприглядны, города того хуже, – это так, но ведь, с другой стороны, русские два раза Европу освобождали от тирании полусумасшедших высокочек, в то время как цивилизованный континент ложился под них относительно без борьбы. Да уже за одно это Европа должна была возвести Россию на соответствующий пьедестал... Но нет: любой французский школьник вам скажет, что Наполеон – гений, что во II-й мировой войне победили американцы, а русские – варвары и вообще.

Дело даже не в изумительной, почти девственной неосведомленности европейца, которая для него естественна, как ванна два раза в день. Дело в том, что Европа двести лет боится России, а боится потому, что не понимает, а не понимает потому, что европейцу Россию

понять нельзя. Ну как ее, действительно, понять, если у русских вечно свой хлеб не растет, но при этом они едва ли не самая артистичная нация в мире, что доказали европейцам Станиславский, Дягилев, Михаил Чехов, Барышников, Баланчин. Если предприниматели у них постоянно «заказывают» друг друга, но в XX столетии все чемпионы мира по шахматам, за исключением Эйве, были именно русаки. Если у них дорог настоящих нет, но они изобрели электрическое освещение, радио, телевидение, душу и самолет...

Одним словом, наше дело дохлое, потому что мы их насквозь понимаем, а им Россию понять нельзя.

Не исключено, что Россия – прежде всего константа, потому что со времен Астольфа де Кюстина, описавшего наше отечество в 1839 году, кажется, и многое изменилось, и вроде бы ничего.

Для начала возьмем таможеню, с которой де Кюстин начинает свое повествование о Руси. Только, по его словам, сошел он с парохода «Николай I», как попал в лапы многочисленных чиновников, суровых и неподкупных, которые измывались над ним полдня, выдали чужой багаж, заподозрили в шпионаже и отобрали чемодан книг. Так вот какие тут у нас наблюдаются перемены, произошедшие за полтора века, от Кюстина до наших дней? Таможенников, положим, точно меньше не стало – раз. И глупых формальностей меньше не стало – это два, потому что чиновник среднего звена нарочно их выдумывает, чтобы оправдать свое существование в глазах государства, общественного мнения и жены. И если ты прилетел из Парижа, то свой багаж следует искать под рубрикой рейса из Монровии – это три. Разве что в неподкупности нынешнего таможенника не упрекнешь, но что он суров по-прежнему, то суров. И книги, правда, уже лет десять не отбирают, то есть на этом фронте у нас прорыв.

Таким образом, по таможенному департаменту перемен так мало, что это скорее Европа ушла вперед. Или назад, поскольку, как досматривают в Лондоне, Марселе, Мюнхене и Турине, так в Москве не досматривают давно. Но, правда, жестоко «шмонают» только русских, арабов, вьетнамцев, курдов и приезжающих на житье.

Спрашивается: за что нам-то такая честь? Кажется, в масштабном производстве кокаина мы не замечены, боевиков на экспорт не обучаем, чумы у нас не было двести лет. Видимо, вот за что: западный европеец уверен, что от русских чего угодно можно ожидать, то они «Войну и мир» напишут, то атомную электростанцию подорвут. Словом, наш соотечественник в Европе потенциально опасен, потому что он человек крайностей, потому что там хорошо известно: если русский танцует, то уж никто в мире так не танцует, если русский бандит, то он ест на завтрак грудных детей. Ну то же самое мы для какого-нибудь лондонского таможенника, что для нас пришельцы с планеты Гопп: то они танцуют, то едят на завтрак грудных детей. Разумеется, ему удобнее иметь дело с аргентинцами, например, у которых в заводе нет атомных электростанций и которые точно не напишут «Войну и мир».

Это надо очень невзлюбить нашу землю, чтобы описать ее так, как француз Кюстин. Именно: «Россия – сырая, плоская равнина с кое-где растущими жалкими, чахлыми берегами. Дикий пустынный пейзаж без единой возвышенности, без красок, без границ и в то же время безо всякого величия... Здесь серая земля вполне достойна бледного солнца, которое ее освещает». И это про нашу матушку Россию, которая природно богаче Франции примерно в двадцать семь с половиной раз!

Виноград у нас не растет, что правда, то правда, но это еще не основание для того, чтобы как будто нарочно не разглядеть сказочных красот, украшающих нашу землю от Смоленска до Колымы. Вот эта-то нарочитость и огорчает, даже нервирует, даже злит. Мы любим Францию за глаза: за то, что французская речь прекрасна, величественные замки стоят понад Луарой, кино у них хорошее, импрессионизм они выдумали, за то, что тут родился и жил Паскаль. А они нас за глаза не любят, не зная о нас решительно ничего. Или то зная

наверняка, что в Москве по улицам ходят белые медведи, в Большом театре поет цыганский хор, русского президента зовут Николай II.

И ведь это исстари так ведется. Великий князь Александр Михайлович в своих мемуарах пишет: зимой 1918 года идет в Париже парад победы, о русских, потерявших в I-й мировой войне три миллиона солдат, и помину нет, зато блистает Португалия, потерявшая на полях сражений одиннадцать человек. То есть где только можно, они норовят нас обидеть и ущемить. И ладно если бы они тоже были пришельцы с планеты Голл, а то такие же дикари, только в свое время присосавшиеся к римской цивилизации, у которой они собезьянничали все, от архитектуры до языка.

Но вообще-то понятно, за что нас невзлюбил путешественник де Кюстин. Скорее всего за то, что мы единственная нация в Европе, и бедная-то, и темная, и забитая, которая смогла противостоять Наполеону и победила его войско, не выиграв ни одного сражения, дурачком. Тем более что неясно, зачем русские насмерть стояли под Москвой, зачем сожгли свою древнюю столицу, зачем пошли освобождать Европу, которая их держит за дикарей...

Что до французов, то эти себя уважают, своей галльской кровушкой дорожат, то-то они Париж постоянно сдают без боя.

А мы не из таковских, мы, мнится, даже больше любим Францию, чем себя.

В другой раз у этого автора наткнешься на такое замечание, что на душе станет серьезно нехорошо. Например: «Во Франции благодаря успехам индустрии мы уже почти забыли, что существует свечное освещение, в России же обычно еще до сих пор употребляют восковые свечи». Положим, восковые свечи у нас возжигались только в церквях, а в обиходе использовали сальные, позже спермацетовые и стеариновые, но то, что в середине XIX-го столетия Россия сидела при свечах да лучине, — это, как говорится, научный факт. Что там середина прошлого столетия — до самой коллективизации русская деревня освещалась живым огнем, до самой «лампочки Ильича»! В Европе уже пахали на тракторах, услаждали жизнь холодильниками и радиоприемниками, а наш Иван на ночь глядя отщепит от полена лучину, сунет ее в железный светец и ну мечтать о всемирной республике имени 25-го Октября.

То есть техническая ущербность России есть категория историческая, едва ли не константа, поскольку и сейчас она налицо, и сто шестьдесят лет тому назад у них газовое освещение и вообще «успехи индустрии», у нас — «православие, самодержавие, народность» и арестантские роты за лишний вздох. Невольно придет на память читанное когда-то у Щедрина: «Везде мальчишки в штанах, а у нас без штанов; везде изобилие, а у нас — «не белы снега»; везде резон, а у нас — фюить!»

Добро если бы мы, как японцы, питались чужими техническими идеями, а то ведь именно наш Яблочков изобрел электрическое освещение и впервые продемонстрировал его именно в Париже, где оно и было прозвано — «русский свет». Следовательно, стоит какая-то непреодолимая преграда между русским гением и домашним способом использовать Божий дар. Сдается, что эта преграда заключается в нашей нерасположенности к последовательному труду. Действительно: хладнокровное отношение к своим прямым и косвенным обязанностям для нас настолько характерно, что на Россию не распространяется зависимость «Что посеешь, то пожнешь». У нас запланируют общество полной социальной справедливости, а выйдет «тюрьма народов», кто-нибудь выдумает мирный атом, а он сам собой переродится в угрозу для мирового сообщества, иной раз посеешь огурчик, а вырастет разводной ключ.

Таким образом, мы оттого искони плетемся в хвосте технического прогресса, что в России на одного мужика, мечтающего о том, как бы использовать радиоволны, приходится два миллиона мужиков, мечтающих о том, как бы чего украсть.

Далее де Кюстин пишет: «Я видел Венский конгресс, но я не припомню ни одного торжественного раута, который по богатству драгоценностей, нарядов, по разнообразию и роскоши мундиров, по величию и гармонии общего ансамбля мог бы сравниться с праздником, данным императором в день свадьбы своей дочери в Зимнем дворце».

Вот это давно ушло. То есть блестящих праздников, роскошных нарядов и мундиров, «величия и гармонии общего ансамбля» у нас не видели с октября 1917 года, когда власть в России захватила, в сущности, шантрапа. Чего можно было ожидать от недоучившихся студентов из поповичей, разнорабочих, у которых организм водки не принимал, профессиональных смутьянов в силу неприспособленности к положительному труду? Коллективизации, индустриализации, лагеризации – это да, и еще множества полезных и бессмысленных преобразований, но только не красоты. За красоту отвечает элита нации, аристократия крови и духа, а у нас таковую уничтожили на корню.

Результаты этой операции налицо. У нас не встретишь по-настоящему изящно одетого человека, а иностранца узнаешь за сто шагов. Архитектура у нас убогая, праздники нелепые, интерьеры примитивно-буржуазные, общий ансамбль отдает квашеной капустой и вообще повсюду видна какая-то намертво въевшаяся в поры жизни некрасота.

Вот такая вещь: социализм – это прежде всего некрасиво. Наверное, это удобно, полезно для психического здоровья, потому что социалистическое общество не знает напряжения, соревнования, ответственности, но красота в таком обществе не живет. Впрочем, и при нашем босяцком капитализме ей не житье, поскольку правит бал та же самая шантрапа.

Одним словом, худо без аристократии крови и духа, ибо, по завещанию Федора Михайловича Достоевского, ничем, кроме как красотой, не спасется мир.

Знаменитый французский путешественник так описывает наши российские города: это-де обыкновенно квартал-другой приличных каменных зданий, «окруженный ужасающей неразберихой лачуг и хибарок, бесформенной гурьбой домишек неизвестного назначения, безымянными пустырями, заваленными всевозможными отбросами – омерзительным мусором, накопившимся за жизнь беспорядочного и грязного от природы населения...» Как говорится, не в бровь, а в глаз. То есть, действительно, за исключением Москвы да Петербурга, куда ни ткнишь, везде найдешь и «бесформенную гурьбу домишек», и «безымянные пустыри». Наблюдательность француза тем более оскорбительна, что он посетил Россию при царе Горохе, а наши города все так же нехороши. И ведь не сказать, чтобы мы, действительно, были «грязным от природы населением», по крайней мере, до порога мы благоустроены и чисты. Правда, за порогом, там, где начинаются лестничная площадка, лифт, подъезд, двор, улица, район, город, – там русскому человеку ни до чего.

Почему бы это? Видимо, потому что русскому народу вообще свойственно трепетно-любовное отношение к родине, вот только он ее не уважает, – и даже сразу не скажешь, за что про что. Любить – любит, и более того: по выражению Достоевского, русак связан с родной землей «химическим единством» – но почтения к местности у него нет. Просто-напросто так сложилось, что русский человек не уважает свою страну, иначе его города были бы похожи на сказочную картинку, а деревни – на города. Так еще бывает, когда ребенок не задался, жена – гулена, муж беспутный: любить можно, уважать нельзя. Поэтому нам ничего не стоит устроить свалку посреди деревни, застроить пустырь многоэтажными бараками, превратить в стойло общественный туалет.

Может быть, дело в том, что нигде так пренебрежительно не относятся к человеку, как в России, и наши грязные города и веся – это естественная реакция русака. Возьмем, к примеру, Великую Отечественную войну: по выражению писателя Астафьева, мы победили, завалив немцев своими трупами и утопив их в своей крови. А британцы, три года воевавшие против Германии в одиночку и пять лет коалиционно, потеряли только сто пятьдесят тысяч своих солдат. В том-то все и дело, что Европа уважает европейца, а европейцы вза-

имно уважают свой благоустроенный континент, который они вылизали до такой степени, что совестно спичку бросить на тротуар.

Другое дело, что вот у французов довольно странное, слишком несложное представление о счастье; французы говорят, что «Счастье – это мытая голова».

Далее де Кюстин пишет: «Русский народ, серьезный скорее по необходимости, чем от природы, осмеливается смеяться только глазами, но зато в них выражается все, что нельзя сказать словом: невольное молчание придает взгляду необычайную красноречивость и страстность. Но чаще всего он безысходно печален...» Тонкое замечание, хотя оно и прямолинейно до простоты.

Русский человек, действительно, донельзя серьезен, и тому имеется ряд причин. Главная из них: жизнь в России беспросветна и тяжела. У нашего соотечественника от века не было собственности, которая придает индивидууму гордый вид. В глазах его точно нет знака превосходства, поскольку он исстари работал за хлеб, на казну ли, помещика, социалистическое отечество, только не на себя. Искони государство относилось к нему с величайшим презрением, ни во что не ставило его личность, и поэтому во взгляде русака нет самоуважения ни на грош. Какие уж тут смешки, если у нас мыслителей запросто объявляли государственными сумасшедшими и еще недавно сажали в каталажку за анекдот...

Зато внешние узы всегда обостряли в нас деятельность сознания и души. Во всяком случае вопросы нас занимают, главным образом, вселенские и мыслью мы достигаем таких высот, куда нет ходу ни цензуре, ни охранительным тенденциям, ни судье. Вероятно, де Кюстин потому и углядел в наших глазах «необычайную красноречивость и страстность», что в духовном отношении мы свободны бесконечно, даже бессмысленно, как никто.

Одним словом, в Москве точно редко встретишь улыбающегося человека и мы ведем себя преимущественно по Канту, как некая вещь в себе. Посмотри пристально на француза – он улыбнется в ответ, потому что улыбка его рабочее положение; посмотри пристально на русского – он сразу спадет с лица. Это оттого, что улыбка нам дана либо снисходительная, либо если кто глупость скажет, либо в адрес своей мечте.

Не то индивидуум западноевропейского образца: он смешлив, независим, благожелателен и до того исполнен чувством собственного достоинства, что это, пожалуй, по-нашему, и смешно. А все потому, что в Европе человеческая личность почти все, государство почти ничто, обыватель никого не боится и четыреста лет работает на себя. Он по этой причине и добродушен, как ребенок, и пьет умеренно, и непрочь принять участие в каком-нибудь идиотском шествии, и на трезвую голову способен сплясать канкан.

А русский умеет веселиться, если только зальет глаза. Впрочем, он и выпивши мрачен, подозрителен и пуглив. Одна надежда на людей нового поколения, которые в силу рыночных отношений и свободы слова, глядь, вырастут непьющими, смешливыми простаками, совершенно по западноевропейскому образцу.

Хоть и несправедлив был маркиз де Кюстин к нашей России, в другой раз у него прочитаешь глубоко истинные слова. Вот он пишет, и даже вроде бы между прочим: «Нет поэтов более несчастных, чем те, кому суждено прозябать в условиях широчайшей гласности, ибо, когда всякий может говорить о чем угодно, поэту остается только молчать. Видения, аллегории, иносказания – вот средства выражения поэтической истины. Режим гласности убивает эту истину грубой реальностью, не оставляющей места полету фантазии».

Именно так и есть. Сколько ни странен, даже противоестествен антагонизм между свободой слова и высокой литературой, француз безусловно прав. То есть дело и поныне обстоит следующим образом: чем цивилизованнее общество в гражданском смысле, тем меньше в нем места для поэзии, и в значении национального самочувствия, и в значении собственно стихотворного ремесла. Маркиз был простой человек, но и он постиг, что в Рос-

сии точно должна господствовать поэзия, поскольку уж больно это задавленная, бедная, неустроенная страна.

Разве что в свободном обществе поэт молчит не по Кюстину, то есть не оттого, что так нет места «полету фантазии» и видения с иносказаниями себя изжили, как треуголка и паровоз. В свободном обществе поэт молчит оттого, что он никому не нужен, что никто не хочет его слушать, что вольному человеку не до него.

Почему это так получается – яснее ясного, потому что демократия, даже этимологически, есть производное от простонародья, от его вкуса, ментальности и способа бытия. Ну по сердцу простому человеку оперетта, латиноамериканские страсти, запоминающиеся песенки, уголовные истории, и с этим ничего не поделаешь, как с законом сохранения вещества. Уж так он устроен, что ты его без тепла оставь, месяцами пенсию не плати, но телевидение для господ с неоконченным начальным образованием – это подай сюда. А поскольку простонародье во всяком обществе составляет абсолютное большинство, то художественная культура закономерно вырождается, подстраиваясь под вкусы и потребности простака. Тут тоже ничего не поделаешь: свобода, рыночная стихия, каков спрос, таково и предложение; требует человек, чтобы ему сделали интересно, – так вот тебе история про то, как депутат городского собрания одновременно съел одиннадцать человек. Одним словом, в свободном обществе культура неизбежно поступает в услужение обывателю, и он ведет ее за собой, как собачку на поводке. И вот уже нет в языке такого грязного слова, которое не донесет до тебя эфир.

А самовластье – это аристократично, тут музыку заказывает подавляющее меньшинство, и культура при таком общественном устройстве не служанка, но госпожа. Даже в том случае, когда самовластье отправляет компания недоучек; по той простой причине, что такое подавляет все, не только либеральные поползновения, но и дикие вкусы абсолютного большинства. Единственно для высокой литературы самовластье безвредно, поскольку она выше его понимания и поскольку деспот чувствует в ней отдушину для паров. И вот уже Россия – самая читающая страна в мире, и писатель – властитель дум.

Во всяком случае при деспоте Николае I наша литература приобрела общечеловеческое значение, а при нынешних либералах она свернулась сама собой. И, оказывается, ни одно великое произведение русского гения не было потеряно тщаниями большевиков, в то время как десятилетие свободы ровным счетом ничего не прибавило нашему соборному мироощущению и уму.

Зато послабление в режиме дало русаку возможность показать себя во всех его блажах и простоте. Позволено не читать – он и не читает; в верхах заводами крадут – он и в этом направлении развернулся, как никогда; можно ничего не делать – он и не делает ничего. Только раз так, то нужно быть последовательными, соответствовать своей сути до логического конца... Коль мы такие бесшабашные, что у нас чуть ли не каждый десятый сидит в тюрьме, коли у нас исстари не складываются отношения с законом, но год от года крепнет нервное отношение к тому, что плохо лежит, – то наш гимн не «Союз нерушимый...», и не «Патриотическая песнь» Глинки, и не «Боже, царя храни». Наш гимн, пожалуй, «Мурка», та самая забубенная песенка, в которой поется:

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, мое горе, и прощай,
Ты зашухарила всю нашу малину,
И за это пулю получай, Да, да!

В преходящем, тактическом смысле русская идея состоит в следующем... Хуже нас в Европе никого нет, и нигде не живут так бедно и беспорядочно, как у нас. Хотя бы возьмем

в предмет, что в Москве за рулем ездят, как где-нибудь в Центральной Африке, и сидючи на драгоценных черноземах, мы умудряемся голодать. Следовательно, наша первостепенная задача заключается в том, чтобы всенародно проникнуться этой обидной характеристикой, сообразить, что никто, кроме нас, в наших бедах не виноват, по пословице «Какие сами, такие и сани», и в кратчайшие сроки выйти из тупика. То есть таким образом наладить русскую жизнь, чтобы хотя бы в Турции дела обстояли прискорбнее, чем у нас.

Точнее сказать, мы виноваты, но не во всем. Вот профессиональный путешественник де Кюстин пишет в 1839 году: «Русские похожи на римлян еще и в другом отношении – так же как и последние, они заимствовали науку и искусство извне». Это что есть, то есть. Действительно, до Петра Великого мы только ту науку и знали, какую вгоняют в задние ворота, и к нам завезли из Европы театр, музыку и балет. Однако европейцам не приходится кичиться этими дарами, потому что не французы с немцами выдумали театр, музыку и балет. Их выдумали древние греки, которые давно исчезли с лица земли. У греков науку и искусство позаимствовали римляне, а у римлян, по соседству, французы с немцами, предки маркиза де Кюстина, который чванится своим культурным превосходством над русаком.

Таким образом, мы в том преимущественно виноваты, что осели у черта на куличках, за 4000 верст от Рима, мы потому и бедные родственники у Европы, что существуем очень уж далеко. Да еще нас обложили со всех сторон, оттерли от светоча цивилизации турки, поляки, остзейское рыцарство и Литва. Вот тут и налаживай искусство с наукой, когда за Окой стоят крымчаки, а под Можайском – поляки, когда только и ходу, что в сторону Колымы.

Между прочим говоря, поляки на нас до сих пор сердиты, дескать, зачем мы им упразднили государственность в XVIII столетии, а то, что они нам устроили государственную границу под Можайском – это считается ничего.

Далее де Кюстин пишет: «Они (т.е. русские) не лишены природного ума, но ум у них подражательный и потому скорее иронический, чем созидательный. Каждый угнетенный народ поневоле обращается к злословию, к сатире, к карикатуре. Сарказмами они мстят за вынужденную бездеятельность и за свое унижение».

И тут, кажется, нечего возразить. Во всяком случае, литература у нас точно не созидательная, не прямолинейная, а больше склоняющаяся в горестный анекдот. Эта традиция идет от Фонвизина и «Медного всадника» до самого «социалистического реализма», который подвел наш традиционный «фантастический реализм», по определению Достоевского, под гибельную статью. Тогда-то у нас утвердилось положительная, простецкая литература осведомительного направления, но только с уклоном в марксистско-ленинский романтизм. Точно такая же литература существовала и во Франции времен маркиза де Кюстина, только безо всякого уклона, а просто писали люди про Ругон-Маккаров, тружеников моря, патриотически настроенных проституток, вообще про то, что плохо и хорошо.

Только вот к литературе такая литература отношения не имеет. Потому что изящная словесность – это отнюдь не иная действительность, это действительность предельно концентрированная, сведенная к формуле, которая дает магическое число. Последние двести лет литература только тем и занимается, что изыскивает магическое число, оперируя, главным образом, злословием, сатирой, карикатурой, сарказмом, иронией, то есть используя преимущественно разрушительный инструмент.

Не исключено, что магическое число уже найдено, причем усилиями именно русского «иронического» ума. Логика тут простая: при операции на действительности без разрушительного инструмента не обойтись, а поскольку нигде среди писателей не было такого числа злословов и карикатуристов, как в России, постольку магическое число выведено усилиями русского «иронического» ума.

О том, что это число действительно найдено, свидетельствует следующий факт огромного культурного значения: литература-то умерла. В лучшем случае она находится при

последнем издыхании, потому что и квалифицированный читатель нынче большая редкость, и квалифицированный писатель наперечет.

«Нет пророка в своем отечестве», – сказал Иисус Христос, но в чужих краях их, кажется, тоже нет. Нострадамус предсказал непобедимого Наполеона и просчитался. Карл Маркс напроорочил мировую социалистическую революцию, а на деле вышел кровавый локальный эксперимент.

Вот и маркиз Астольф де Кюстин отважился на долгосрочный прогноз, – дело было полтора века тому назад. В своей книге о России он пишет, что «самый воздух этой страны враждебен искусству. Все, что в других странах возникает и развивается совершенно естественно, здесь удастся только в теплице. Русское искусство всегда останется оранжерейным цветком». И, то же самое, не попал.

Ну ладно, русские клопы маркизу не понравились – это как раз понятно, но из чего можно было вывести несостоятельность и бесперспективность нашего искусства, – этого не понять. В середине XIX-го столетия, когда де Кюстин приехал к нам погостить, в России уже были Бортнянский и Глинка, Пушкин и Гоголь, Брюллов и Иванов, Баженов и Казаков, и гений Лобачевский уже вывел свою теорию о пересекании миров. То есть удивительно, даже странно, как, живучи в России, можно было про них не знать... У нас в это время Белинский вздохнул и писал о Жорж Санд, молодые люди стрелялись из-за розного понимания гегелевского «мирового духа», а они о нас не то что ничего не знали, а просто-напросто ничего не хотели знать. Такая французистость тем более нелепа, что, например, вся галльская литература до Марселя Пруста – относительно детская литература, даже относительно повестей Гоголя и зрелых поэм Пушкина, но нашего Павлушу Трубецкого в Европе никто не знает, а их карамельного Родена там знают все. Нет, дорогой Александр Сергеевич, это не мы «ленивы и нелюбопытны», это они ленивы и нелюбопытны, нам-то как раз *ихнее* любопытнее, чем свое.

А ленивы и нелюбопытны они оттого, что самодовольны, не знают комплексов, пресерьезно считают себя избранниками небес, если они французы, и в конечном итоге сравнительно несложны, как табурет. При таких достоинствах, разумеется, трудно предвидеть, что русское искусство со временем станет из первых на всей земле.

В том-то все и дело, что русский культурный человек – это прежде всего до крайности сложно, и искусство у него такое же, то есть такое, которое не может заинтересовать никого, кроме культурного русака.

Ниже де Кюстин пишет: «Пустые развлечения – единственные, дозволенные в России. При таком порядке вещей жизнь слишком тяжела, чтобы могла создаться серьезная литература». Редкая чепуха.

Жизнь у нас испокон веков точно тяжела, но, как показывает практика, именно из такой жизни, скудной и жестокой, бедной внешними событиями, рождается предельно серьезная литература, можно сказать, евангелического письма. Оттого-то из нашей земли вышло «Преступление и наказание», что нам дано вымещать злобу против тиранов на старушках-процентщицах, а не на начальниках тюрем, вроде несчастного Делоне.¹ Оттого-то столп нашей литературы «Мертвые души», что предприимчивой персоне у нас развернуться не дают, и это он в Европе был бы вторым человеком после премьер-министра, а у нас он жулик и оборкот. Оттого-то первый рассказчик в мировой литературе – Чехов, который прожил тяжелую, неинтересную жизнь, душевно бедствовал и болел.

Вот если бы мы существовали под сенью пиний, три раза в день налегали бы на разбавленное вино, раз в десять лет устраивали бы театрализованные революции, вот тогда у нас в литературе была бы «Дама с камелиями» и нудные сказители наподобие Бальзака. То-

¹ Комендант Бастилии, погибший во время штурма крепости 14 июля 1889 г.

то и оно, что если твоя жизнь беспросветна и цензор не дает тебе вывести в рассказе лишнего дурака, то тогда такая утонченная получается литература, что она насущна, как «Отче наш». Недаром Бог Любви родился не под сенью пиний и не при Марке Аврелии, а в каменной пустыне, при царе Ироде, у племени, которое существовало скудно и тяжело. Словом, потому у нас и самая серьезная литература в мире, что хуже, чем нам, мало кому приходилось и страшнее нашей трудно найти страну.

Вот если бы де Кюстин посетил нас при первых Романовых, когда во Франции отличался Мольер, а в России жгли в срубах за анатомию, – тогда да. Все-таки к тому времени французы во всем опережали нас примерно на четыреста лет, которые отделяли короля Хлодвига от Вещего Олега, – теперь не то. Теперь мы цивилизованной Европе, что называется, дышим в спину, зачитываемся дамскими бреднями, живем телевизором, слыхом не слыхивали про Мольера, только о кредитах и разговор. Так что еще немного, и совершенно сравняемся, господа.

Маркиз де Кюстин не все клеветает на Россию в своих записках, но иногда изрекает и горькую правду, которая по сию пору глаза колет, потому что далеко не все меняется на Руси. Вот маркиз пишет: «Русский во фраке кажется мне иностранцем у себя на родине...» Разве не обидно, что изящно одетый русский – это аномалия в своем роде, что, может быть, русскому вообще европейское не идет.

Хотя не исключено, что нам точно европейское не идет. Не исключено, что складу нашего национального характера ближе смазные сапоги, картуз с лаковым козырьком, косоворотка навыпуск, жилет из шотландки и плисовые штаны. Но уж если мы окончательно остановились на европейском платье, то этому выбору нужно как-то соответствовать, отвечать. То-то и колет глаза, что сто семьдесят лет прошло, как французский путешественник сделал нам обидное замечание, а мы по сию пору одеваемся абы как.

И ведь не сказать, чтобы в нас было не развито чувство прекрасного, даже наоборот. То есть русский человек по достоинству ценит изящное, тонко чувствует музыку, способен отличить настоящую живопись от забавы и он произвел одну из самых утонченных литератур. Но нарочно посмотрите, как мы одеты – чуть опрятнее, чем американские бездомные, и чуть богаче, чем Диоген. У нас на прием прийти в свитере – в порядке вещей, туфли не чистить – норма, и это уже будет государственная измена, если на тебе галстук бабочкой от Жанэ. И это при том, что никого нет в мире культурнее культурного русака.

В общем, неудивительно, что элегантно одетый русский кажется иностранцем у себя на родине, поскольку мы не знаем такой культуры, как платье носить, давно пренебрежительно относимся к одежде и поскольку у нас не по ней провожают, а по уму. Но главная причина – жизнь в России уж больно головная, замученная, беспорядочная, одним словом, неэлегантная, так что изящная одежда ей претит, как обязательность и канкан. Выйди на московскую улицу в галстук бабочкой от Жанэ и сразу выпадешь из ансамбля, ибо кругом сугробы, старушки с авоськами, злые алкоголики в бушлатах и прекрасные женщины, одетые абы как. Правда, за иностранца тебя все равно не примут, затем что русского всегда выдадут какие-то заинтересованные глаза.

Одно утешение, единственная отрада, что у нас провожают не по одежке, а по уму.

Далее де Кюстин пишет: «Россия, думается мне, единственная страна, где люди не имеют понятия об истинном счастье. Во Франции мы тоже не чувствуем себя счастливыми, но мы знаем, что счастье зависит от нас самих».

Маркиз де Кюстин не то чтобы был человек неумный – умный-то он умный, – но неглубокий, и даже можно так сформулировать: простоват. Это уже был француз новейшей модификации, ибо, например, старина Паскаль глубже Герцена и Чернышевского вместе взятых, даром что он француз. Иначе чего бы де Кюстин сводил понятие о счастье к демократиче-

ским свободам, между тем он так и пишет: «Где нет свободы, там нет души и правды, там нет счастья, которым может воспользоваться гражданин».

Может быть, в теории так и есть, но практика нам показывает, что человеческое счастье никак не пересекается с парламентской республикой, что оно вообще обретается в иных измерениях и незаданных плоскостях. Вот у нас в России давно господствует безбрежная свобода слова, и через нее уже выросло целое поколение, которое матерно изъясняется, а счастья как не было, так и нет. Давно уже у нас любой дурак может выйти в законодатели, любой жулик сделаться вождем, любой бездельник превратиться в губернатора через волеизъявление народное, а мыслители по-прежнему перебиваются с петельки на пуговку, а нищих больше, чем пожарных, а настоящих христиан можно счетом пересчитать.

Другое дело, что мы в России никак не постигнем ту простую истину, что счастье зависит от нас самих. Оно у нас издревле зависит от кого угодно: от цивилизованного самодержца, от Политбюро, от начальника ЖЭКа, расположения звезд, – и только оно не зависит от нас самих. Между тем счастье – это самодельно, просто и общедоступно, причем расположение звезд тут решительно ни при чем. Вот как у поэта:

Затоплю камин, сяду пить.
Хорошо бы собаку купить...

Вообще французы горазды на предсказания. Например, знаменитый Нострадамус всю новую и новейшую историю предвозвестил вплоть до того, что якобинцы перельют на пушки памятник Жанне д'Арк. Вот и маркиз де Кюстин туда же: «Представьте себе республиканские страсти, kloкочущие в безмолвии деспотизма. Это сочетание сулит миру страшное будущее. Россия – котел с кипящей водой, котел крепко закрытый, но поставленный на огонь, разгорающийся все сильнее и сильнее. Я боюсь взрыва».

Это все-таки удивительно, что задолго до Карла Маркса француз указал на Россию как на источник социально-экономических катастроф. Ведь действительно, и пятидесяти лет не прошло, как наше отечество потряс первый взрыв – народовольцы уходили государя Александра II Освободителя за то, что он крестьян превратно освободил. После настала эпоха распространения марксизма, эсеры пропасть народу поубивали, грянули целых три революции, густозамешенные на крови, и в результате на смену образованному деспоту явился деспот, которого выгнали из третьего класса семинарии за курение табака. Последний, как известно, распространил краснознаменную веру на полмира и разве что до Франции не дошел.

Но «республиканские страсти» тут решительно ни при чем. Видимо, дело в том, что русский народ не так плотно занят в сельскохозяйственном и промышленном производстве, как положительные европейские народы, которые живут трудом и знают, чего хотят. Ведь ежели ты любишь свое дело и желаешь обеспечить себе хлеб насущный, то тебе не до социально-экономических катастроф.

С другой стороны, в России всегда было критически много «лишних людей», то есть в прямом смысле лишних – без профессии, настоящего образования, но беспокойных и с претензиями на роль. Повсюду эти люди составляют замкнутую касту – они себе готовят очередную катастрофу, а чиновник пишет, крестьянин пашет, кузнец кует. Не то в нашем отечестве: в силу неполной занятости русский человек простодушно открыт и неизменно чуток к любой сказке про Китеж-град.

В том-то, наверное, и беда, что нигде нет столько радетелей о благе народном, как на Руси. От них все наши несчастья, поскольку радеют-то эти несчастные люди непрофессионально, в сущности, от нечем себя занять.

Далее де Кюстин делает заочное наставление русскому царю: «Прежде чем искать популярность в народе, следовало бы создать самый народ». Это удивительно, как в другой раз чужой человек может проникнуть в суть.

То есть, разумеется, народ создать нельзя, но вместе с тем не подлежит сомнению, что русского народа не существует, что русские, по крайней мере, не монолит. Вот француз – он везде француз. И на Елисейских Полях, и в глухой провинции, и в расфасовочном цехе, и на балу. А русские уж очень разные, из чего мы заключаем, что скорее мы симбиоз народов, нежели единая нация, и вот, собственно, почему...

Во-первых, потому что у нас нет общенациональной житейской культуры, а есть только общие акультурные проявления, например, русские как один переходят магистралю «на красный свет».

Во-вторых, мы говорим на разных языках, и еще сто лет тому назад, по замечанию писателя Энгельгардта, русский крестьянин не понимал фразы, если в ней было больше четырех слов.

В-третьих, в России нет общенациональной морали, и в частности поэтому дело воспитания юношества у нас происходит по воле волн. Немудрено, что у наших выдающихся педагогов дети часто уголовные преступники, и неизлечимо больные – у выдающихся докторов. По сути дела, в каждом социальном пласте русского народа существует своя мораль. Для сельского жителя мешок цемента украсть – в порядке вещей. Среди поселковой молодежи в тюрьме отсидеть – как в армии отслужить. Горожанин, из начитавшихся, способен пойти на эшафот за учение о монахах. Интеллигент, по Бальмонту, стоит на том, что «Мир должен быть оправдан весь, / Чтоб можно было жить». Следовательно, в этическом плане мы даже не симбиоз народов, а злостный интернационал.

В-четвертых, сама общность территории под вопросом, ибо Сибирь – не Россия, из прибалтийских республик наших не выпрешь, и мы настолько склонны к эмиграции, что в Израиле через одного по-нашему говорят.

Но это по-своему и хорошо, что как нация мы еще не сложились, и, значит, у нас еще многое впереди. Сдается, что третье тысячелетие от рождения Христова будет тысячелетием России, поскольку все наши беды от молодости, а молодость – это сначала дурь.

Мы, русские, народ точно не европейский, даром что голубоглазы, светловолосы и моемся через день. Словно чужие мы в Европе, хотя, по крайней мере, сорок тысяч лет населяем сей положительный континент. Или можно так сказать: русские и романо-германцы до такой степени непохожи, как будто они не соседи, а разнопланетяне, которые не сойдутся ни на какой платформе и никогда. Не то чтобы они лучше, а мы хуже, или наоборот, а просто мы слишком долго, до самого Алексея Михайловича Тишайшего варились в своем соку.

Недаром в середине позапрошлого столетия де Кюстин писал о нас: «Нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами. И под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру – но лишь надело ее мехом внутрь».

Что до жестокости наших нравов, то тут де Кюстин не прав. Устроить побоище «стенка на стенку» – это мы могли, и поскандалить в очереди за водкой – это было у нас свободно, и вот в настоящий исторический момент у нас выборочно, через нищего, подают. Но лишние едоков на Руси никогда не топили в реках, как в революционной Франции, и смертная казнь в России была отменена за пятьдесят лет до того, как французы пустили в ход гильотину (высота конструкции два метра двадцать сантиметров, вес ножа шестьдесят килограммов) и в одном Париже казнили с тысячу человек.

Что до происхождения нашего племени, то мы те же индоевропейцы, что и французы, и монголоидности в нас сравнительно ерунда. Ну, города наши чем-то похожи на стойбища, ну,

не законопослушны мы, как охотники за морским зверем, ну, простодушны и нерасчетливы, как амазонцы, ну, ездим за рулем напропалую, безответственно, — как живем.

А вот француз, напротив, почитает закон наравне со святой Магдалиной, обитает в благоустроенных городах, умеет считать деньги, за рулем ездит, точно перед начальством отчитывается, и наперед знает свою судьбу. Кроме того, он по девственной своей неосведомленности путает татар с разбойниками и считает варварами всех, кто не ведет приходно-расходных книг. Отсюда резолюция: мы, русские, точно не европейцы, даром что голубоглазы, светловолосы и моемся через день.

А впрочем, что такое европеец? Каковы в действительности его характернейшие черты? И, может статься, это мы на самом деле европейцы, а не они...

Если образцовый обитатель нашего континента — это такой узко образованный и строго ориентированный господин, который превыше всего ставит здоровье, семейный принцип и материальное благополучие, который не выходит из дома без носового платка, больше всего интересуется котировками и не читает ничего, кроме газет, то мы несколько не европейцы, а бог весть что. Но, кажется, Европа прежде всего считалась светочем широкого знания, источником гуманистической мысли, цитаделью благородства, свободы и гражданских добродетелей, если, конечно, мы не заблуждались на этот счет. Если не заблуждались, то вот какое дело: русские — последние европейцы на сей земле.

Спору нет, мы вороваты, не умеем работать, безобразно содержим свои города и веси, но все-таки слишком многое говорит за то, что мы суть последние европейцы на сей земле. Во-первых, мы ориентированы широко, даже всемирно, и нас остро интересует движение французской литературы, здоровье американского президента, погода на Соломоновых островах. Во-вторых, мы больше живем духом, чем физически, как, например, Лейбниц и Блез Паскаль. В-третьих, русский человек не прочь пострадать за выношенную идею, как Овидий и Галилей. Наконец, у нас еще местами читают книги, по-прежнему существует такая вздорная профессия, как поэт, и, отправляясь от иной гуманистической идеи, мы способны обменять жилплощадь на хроническую болезнь. Правда, нам неведомы гражданские добродетели, но зато свободны мы, как никто. Однако и нам недолго оставаться европейцами, поскольку успехи цивилизации налицо. Александр Иванович Герцен еще в середине позапрошлого века писал: «...пора прийти к спокойному и смиренному сознанию, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации». Мы только добавим: цивилизации не западной, а вообще. Как-то так сложилось, что чем благоустроеннее общество, чем мощнее его производительные силы, тем проще, пошлее, ограниченной человек. Трудно сказать, по какой причине, но что-то происходит с культурой в исконно-европейском смысле этого слова, когда прогресс достигает известной точки, то есть угасает культура, что называется, на глазах. Только один пример: при большевистской деспотии у нас было не пробиться на вечер поэзии в Политехническом музее; в свободной России писатель считается полусумасшедшим, настоящего читателя поискать. Вот и подумаешь в другой раз: видимо, было бы лучше, если бы мы подольше варились в своем соку.

Порох выдумали не мы. Эту сатанинскую смесь выдумали китайцы, у китайцев ее позаимствовали арабы, у арабов — испанцы в эпоху Реконкисты, а у испанцев — весь европейский мир. С тех пор войны перестали быть массовой поножовщиной и превратились в науку убийства издалека.

Нет ни одного европейского народа, который не использовал бы китайское изобретение, как правило, злонамеренно, бесшабашно и широко. Россия, разумеется, не исключение, но и только, между тем Западная Европа издревле и серьезно горюет на тот предмет, что русские тоже знают порох и на беду всему цивилизованному человечеству владеют наукой убийства издалека. Маркиз де Кюстин так и пишет: «Я уже говорил и повторяю еще раз: русские не столько хотят стать действительно цивилизованными, сколько стараются нам

казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы с огнестрельным оружием...»

Понятно, что парижанин имел в виду: дескать, Россия настолько громадна, дика, неуравновешенна и страшна, что Запад на всякий случай должен иметь над ней какой-то качественный перевес. Например, было бы отлично, если бы Франция знала порох, Россия – нет.

Непонятно только, чем мы так напугали Западную Европу, вроде бы и далеко мы, и ружья у нас, по Лескову, кирпичом чистят, и до того мы заняты внутренними безобразиями, что нам нет дела ни до чего. И то правда, что за свою тысячелетнюю историю Россия вела около трехсот пятидесяти войн, и лишь с десятков из них были оборонительными, однако русская экспансия была обращена исключительно на восток. По-настоящему мы только однажды Европу насторожили, при Петре Великом, а так мы сравнительно тихо сидели в медвежьем своем углу. Разве что русские навсегда напугали французов, когда разгромили шестисоттысячную армию Наполеона, который всю Европу прижал к ногтю, освободили Германию, взяли Париж и внедрили в галльский обиход существовавшее «бистро».

Следовательно, и в этом смысле порох выдумали не мы. То есть Россия никогда не нападала на Францию, в то время как французы дважды вторгались в наши пределы, так почему же, спрашивается, не мы напуганы, а они?

Маркиз де Кюстин так отвечает на этот вопрос: потому что «русский народ ни на что не способен, кроме покорения мира». И, откровенно говоря, в этой резолюции что-то есть.

Действительно, русский народ не вполне способен себя кормить. У него не задалась своя индустрия и вся техника в России у нас была завозная вплоть до Великого Октября. Мы не смогли реализовать социалистическую идею, вернее, извратили ее до такой степени, что Маркс неоднократно перевернулся в своем гробу. Мы не смогли построить и демократическое общество, по крайней мере, на первых порах у нас вышла смесь балагана, «малины» и нищеты. Наконец, наши автомобили без молитвы не заводятся, телевизоры показывают нерегулярно, самолеты падают почем зря.

Правда, автомат системы Калашникова стреляет при любой погоде, и даже если натолкать в дуло битого кирпича. Исходя из этого феномена действительно подумаешь, что все наши настоящие способности направлены на войну. Не тут-то было: покорить мир мы тоже не в состоянии, вернее, у нас и мысли никогда такой не было, затем что просто-напросто невоинственный мы народ. Агрессии в нас хватает только на давку в метро и очередь за продуктами питания, а в остальном русак безобиден, как «хорошист». Ну, хана Кучума мы разгромить можем, но одолеть правильное войско русские способны, если их только очень, до крайности разозлить.

Иное дело, что в таких случаях функцию армии берет на себя народ, поскольку армия-то у нас, говоря по-немецки, – швах. И берет она преимущественно числом, так что в среднем у русских приходилось с десятков убиенных солдатиков на одного поверженного врага. И главное, она испокон веков содержится кое-как. Вот маркиз де Кюстин пишет: «Серый, нездоровый цвет лица солдат говорит о голоде и лишениях, ибо интенданты безбожно обкрадывают несчастных...» – возьмем в предмет, что это было написано полтора века тому назад. Таким образом, и в этом смысле порох выдумали не мы. То есть Россия никогда не покушалась на мировое господство, ибо покушаться на таковое она и не хотела, и не могла.

Но тогда возникает законный вопрос: почему романогерманцам, по природе склонным к гегемонии в мировом масштабе, не дает покоя наше огнестрельное оружие вплоть до знаменитого «калаша»? А вот почему: потому что мы народ нецивилизованный, и если воюем, то до логического конца. Французы вон в сороковом году две недели повоевали с немцами – и хорош. Национальная государственность приказала долго жить, но зато и города целы,

и французы в основном целы, как будто и не было ничего. А мы искони ратоборствуем до последнего солдата, последнего хлебного колоса, последнего шалаша.

Понятное дело, что с таким народом можно воевать только в том случае, если иметь над ним резкий качественный перевес, например, если бы во Франции знали порох, в России – нет.

Занятно, что огромное большинство людей, живущих органичной жизнью, как, например, живет дерево или волк, безошибочно соизмеряют действие с его следствием, поскольку природа берет свое. И дерево никогда не пустит лист на Крещение, и волк без крайней нужды не полезет в колхозную овчарню, и автомеханик по субботам пьет водку, а не тосол.

Другое дело человек, который больше живет головной жизнью, будь он хоть русский демократ, хоть французский аристократ. Вот маркиз де Кюстин пишет аж в 1839 году: «Тягостное чувство, не покидающее меня с тех пор, как я живу в России, усиливается оттого, что все говорит мне о природных способностях угнетенного русского народа. Мысль о том, чего бы он достиг, если бы был свободен, приводит меня в бешенство».

Положим, что это так. То есть, с одной стороны, русский народ точно талантлив, даже и чересчур. В том смысле чересчур, что если ему потребуется поднять сельскохозяйственное производство, он не ограничится передовыми агроприемами, а еще выдумает трудодень, статью «за колоски», потребкооперацию и кашу из топора. Но, с другой стороны, прикинем, чего русский народ достиг в условиях тирании и до чего он дошел, будучи свободным, как никогда...

При деспотах, начиная с Николая I, русские дали миру: неэвклидову геометрию, электрическое освещение, периодический закон, великую литературу, радио, воздухоплавание, телевидение, «Броненосца “Потемкина”», две актерские школы, водородную бомбу, теорию космических сообщений, за которой последовала практика... – больше, кажется, ничего. В свою очередь, свободные французы за это же время дали миру: гильотину, консервы, оперетту, кинематограф... и еще множество других полезных вещей, из чего мы логически выводим, что никакая тирания человеческому гению не указ.

Этот вывод тем более трудно оспорить, что в условиях демократических свобод мы не только ничего путного не выдумали, но за пятнадцать лет умудрились довести до крайности худо-бедно налаженную страну. Срок, правда, ничтожный, но результаты ошеломляют, и все думается: либо России свобода противопоказана, либо у нас все еще впереди.

Но больше всего огорчает человек, живущий головной жизнью. Поскольку он готов пойти на эшафот ради всеобщего избирательного права, то есть поскольку он может поджечь собственный дом, чтобы согреться, постольку головной человек много опасней того автомеханика, который по субботам пьет водку, а не тосол.

Как известно, записки маркиза де Кюстина сто пятьдесят лет не издавались в России, хотя у нас не было такого культурного человека, который эту книгу не прочитал. Не издавались они, во-первых, потому что француз обличает дикие ухватки наших властей предрежающих не обинуясь и напролом. А во-вторых, потому что полтора века у нас оставалась неизменной метода отправления государственной власти: и самодержавие давило всякую самодетельность, и три источника, три составные части марксизма суть романтика, пайка, кнут.

Вот приводит де Кюстин такой случай: утонули, переправляясь через Неву, девять душ петербуржцев, но и полиция про это происшествие якобы ничего не знает, и газеты молчок, и в публике ни гу-гу. «Вы представляете себе, – восклицает маркиз, – сколько разговоров, споров, предположений, криков вызвала бы такая катастрофа в любой стране! Газеты бы писали, и тысячи голосов подхватывали хором, что полиция ни за чем не смотрит, что лодки никуда не годны, что власти ничего не делают для предотвращения таких несчастий. Здесь – ничего подобного. Молчание еще более страшное, чем сама катастрофа».

Что тут скажешь: реприманд справедливый, действительно про такие неприятности не любили у нас писать. Особенно наши марксисты отличались по департаменту тишины, – какую, бывало, газету ни откроешь, везде только про ударные сроки, передовые технологии, встречный план. Где-то самолеты падали, корабли тонули, людей отстреливали ни за понюх табаку, а газеты гнули увеселительное свое.

Слава богу, теперь не то. Нынче свобода слова, нынче уже не прочтешь о том, что вот в таком-то городе живет такой-то счастливый человек, у которого все есть: дом, призвание, кусок хлеба, любовница и жена. То-то порадовался бы за нас маркиз де Кюстин, потому что какую газету ни откроешь, везде только про стрельбу среди бела дня, про упавшие самолеты и потонувшие корабли. Причем интересно: почему-то меньше этих ужасов не становится, если чаще о них писать.

Сдается, что свобода слова – категория экономическая, поскольку рекомые ужасы – самый ходовой товар, это все-таки не «Анна на шее», которая, заметим, печаталась в газете, при цензуре, абсолютной монархии и вообще.

Тот народ обречен страдать и бедовать, у которого нет своей аристократии, по крайней мере, судьба такого народа непредсказуема, ибо она сильно зависит от бандита и дурака. Ведь что такое аристократия?... а самая суть нации, хранительница моральных норм и вековых традиций, даже характернейших физических черт народа, недаром же почти все Романовы были гиганты и молодцы. Поэтому как-то уверенно живет в родной стране, если ты знаешь: как бы скверно ни функционировало государство, Урусов точно не возьмет взятки, Оболенский не смошенничает, Голицын не украдет. И если дивизией командует Шереметев, то можно быть уверенным, что ни один патрон не будет продан противнику и солдаты не перестреляют друг друга из-за обид. (Между прочим, при Романовых за таковскую военную коммерцию вешали перед строем, хотя это, конечно, не выход из положения, но все-таки Иванов прочно знал, что торговать боеприпасами – это нехорошо.)

То-то и дорого, что прежде в России существовало незыблемое понятие о чести и методике служения своему отечеству, которое столетиями хранил русский аристократ. До той самой поры существовало, пока к власти в стране не пришел социально взвешенный элемент. Моментально честь была объявлена предрассудком, мораль приобрела классовый характер, то есть аморальный, и аристократию вырезали на корню. С тех пор мы испытываем постоянные трудности с кадрами, которые, как известно, решают все.

Интересно, что задолго до семнадцатого года феномен социально взвешенного элемента выявил путешественник де Кюстин. Вот он пишет: «Я не упомянул одного класса, представителей которого нельзя причислить ни к знати, ни к простому народу: это – сыновья священников. (Мы, разумеется, берем шире.) Эти господа образуют нечто вроде дворянства второго сорта, дворянства, чрезвычайно враждебного настоящей знати, проникнутого антиаристократическим духом и вместе с тем угнетающего крепостных. Я уверен, что этот элемент начнет грядущую революцию в России».

Как в воду глядел француз. Ведь действительно, не прямые страдальцы, именно промышленные рабочие и нищее крестьянство, устроили нам Октябрьский переворот. Устроили его дети священников, потомки личных дворян, недоучившиеся студенты, уголовники из хороших семей, интеллигенты в первом поколении, то есть не вельможа, не простолюдин, а этот самый социально взвешенный элемент. Он ненавидел все и вся, за то что ему не нашлось места в жизни, трудиться он не мог либо не любил, не знал своих корней и сословной морали, не исповедовал никаких правил, кроме правил конспирации, и даже не всегда знал, чего именно он хотел. И по Кюстину, и по нашему разумению, это была действительно страшная разрушительная сила, перед которой аристократической России было не устоять.

Неудивительно, что в семнадцатом году Урусовых с Оболенскими раскассировали за ненадобностью в государстве пролетариев и крестьян. Между тем аристократия остро необ-

ходима как раз в государстве пролетариев и крестьян, то есть в обществе без религии, естественной морали, неизблемых канонов, если не считать украденной у апостола Павла заповеди «Не трудящийся, да не яст». То-то и оно, что в России вряд ли завелась бы повальная мода на доноительство, если бы где-нибудь в Арбатских переулках жил Урусов, который точно не возьмет взятки, Оболенский, который не смошенничает, Голицын, который не украдет.

А то ни на кого нельзя положиться в Российской Федерации, – ни на генерального прокурора, ни на простого секретаря.

Под осень 1839 года Астольф де Кюстин посетил городок Шлиссельбург, известный своей крепостью, в которой с Петра Великого содержались вольнодумцы и бунтари. Чего вожделем француз, того он не увидел, именно каземата, где капитан Чикин зарезал несчастного императора Ивана VI, с младенчества сидевшего по тюрьмам да крепостям. Зато де Кюстину показали Шлиссельбургские шлюзы, его нимало не интересовавшие, и устроили ему торжественный обед, за которым, между прочим, произошел замечательный разговор.

Поскольку на Руси даже за обедом не умеют говорить о пустяках, беседа с первых же слов достигла высоких сфер. Говорили об изящной словесности. Покуда наши мужчины на водочку налегали, наши дамы выказали настолько тонкое знание французской литературы, что путешественник был положительно изумлен.

По-нашему, тут изумляться нечему. Культурный русак вообще восприимчив и остро интересуется тем, что на Западе пишут, думают, говорят. Но это вовсе не потому, что в нашем отечестве скучно пишут, мало думают и гадости говорят. Русский человек оттого внимателен к веяниям со стороны Бискайского залива, что он всемирнен, по определению Достоевского, что он отчасти немец, англичанин, итальянец, голландец, испанец и чуть француз. То есть гражданин мира он в не меньшей степени, чем русак. Разумеется, это уникальное качество открылось в нас в петровскую эпоху, когда русские дорвались до европейского знания, от которого в течение пяти столетий они были отсечены. Только в конце XX века мы объелись Европой и охладели – отчасти по той причине, что там давно скучно пишут, мало думают и гадости говорят. Вдруг нам стало понятно, что в художественно-культурном отношении нынешняя Европа – это глухая провинция, этакий Весегонск на французский лад.

Так вот, беседовал француз с русскими дамами об изящной словесности и оказалось: мы в курсе движения французской литературы, а де Кюстин о нашей знает не больше, чем о Луне. Ну, Пушкина пару стихотворений он прочитал в переводе и нашел, что тот подражает Стендалю и де Мюссе. Ну, про Лермонтова ему рассказали чувствительный анекдот. А про Гоголя, Крылова, Жуковского, Карамзина, Белинского, Чаадаева он даже и не слышал.

А ведь Гоголь – это столп европейской литературы, начало ее «золотого века», это писатель, открывший пятую сущность слова, выделивший, так сказать, литературное вещество. Гоголь – тринадцатый апостол, через которого на словесность белой расы сошла высшая благодать. И уж во всяком случае гоголевское наследие не идет в сравнение с пустыми эпопеями Бальзака и сказками для детей, которые сочинял Гюго.

И вот на тебе: Бальзака в России знают от первой до последней строки, Гоголя во Франции не знает ни одна собака, – а еще цивилизованная страна... Между тем если бы Бальзаку довелось прочитать хотя бы одних «Старосветских помещиков», он бы навсегда бросил свое перо.

Далее де Кюстин пишет: «Из религиозных разногласий возникнет некогда социальная революция в России, и революция эта будет тем страшнее, что совершится во имя религии». Провидцем оказался француз: если считать марксизм-ленинизм религией, то так оно именно и стряслось.

А иначе и нельзя трактовать сие романтическое учение, поскольку основано оно было исключительно на вере – в пролетариат, мировую революцию, Россию-мессию, непогре-

шимость вождей, победу коммунистического труда. И свои святые были у большевиков, и таинства вроде превращения количества материальных благ в качество нового человека, и обряды, и чудеса. Разве не чудо, что эру космических сообщений открыла страна, в которой невозможно было купить обыкновеннейшей колбасы?..

Вот какое дело: если марксистско-ленинская религия победила, если она владела умами людей без малого столетие, то она должна была опираться на своеобразный человеческий материал. Иначе говоря, победить такая религия могла только в России, где вообще веруют охотно, где народ не глубоко религиозен, а широко. Глубоко религиозный человек до последнего издыхания стоит на том, что «нести власти, кроме как от Бога», а широко религиозный еще верует в двуперстное знамение, нерукотворные иконы, любовь с первого взгляда и тринадцатое число. Такой человек легко приобщается к новой вере, но и расстаётся с ней такой человек легко. Поэтому Россия – чреватая, неуравновешенная страна.

Вот на Западе жить спокойно, поскольку там уже пятьсот лет не меняется символ веры: Бог – это благосостояние и семья.

Впрочем, и на Руси жить можно, особенно если ты веруешь широко. Через такую веру у нас обыкновенный заяц великого Пушкина спас, а то сидели бы мы без «Бориса Годунова», «Евгения Онегина» и «Цыган». Вообще русский человек, что мать родная: какой есть, такой и слава богу.

Может быть, ничто нас так не разделяет с Западом, как язык. Это просто какая-то дополнительная государственная граница, непроницаемая, советского образца. Действительно: русский язык настолько вариативен, чувственен, красочен, просто богат в количественном отношении, что он даже неинтересен для чужака, как, наверное, для готтентота неинтересен стереоскоп.

В этом смысле мы страшно одиноки, потому что нас мудрено понять. Положим, мы говорим: «Ну ты, мать, даешь!» – а это воспринимается как предложение вступить в известного рода связь. Или мы говорим: «Виноват волк, что корову съел, виновата и корова, что в лес забрела», – а чужак подумает, что настоящего судопроизводства в России нет. Но самое обидное, что мир не в состоянии освоить нашу литературу, даже если бы он этого по-настоящему захотел. Вот маркиз де Кюстин пишет: «Вчера я перечел несколько переводов из Пушкина. Они подтвердили мое мнение о нем, составившееся после первого знакомства с его музыкой. Он заимствовал свои краски у новейшей европейской школы».

На эту дурацкую характеристику потому не хватает зла, что маркиз-то, по сути дела, не виноват. Ну что ты возьмешь с француза, если в его языке конструкции железобетонные, ударения исключительно на последнем слоге, суффиксов, префиксов, частиц не полагается, и этот язык только мелодичностью и берет... Что ты возьмешь с француза, если по-ихнему щенок – «молодая собака», если палка, буханка, жезл – все будет «батон», и вообще нет аналога слову «дух»...

Виноват наш язык, не доступный пониманию романогерманца обстоятельно и сполна. А ведь Пушкин – это сплошной язык, и его божественное обаяние заключается не в художественных идеях, вообще несложных для передачи, а в волшебном порядке слов. Ведь есть же, действительно, разница между пушкинской строфой и грустной неизбежностью в переводе, как-то:

Время, мой друг, время,
Сердце просит покоя,
Дни летят за днями...

ну и так далее, вплоть до удаленного монастыря трудов и чистых удовольствий (Александр Сергеевич пишет – «нег»). По той же причине нельзя так перевести Гоголя, Лескова,

Достоевского, Чехова, Бабеля, Зощенко, Платонова, чтобы можно было оценить их обстоятельно и сполна.

Таким образом, Пушкин никак не мог заимствовать краски у европейской школы, во-первых, за технической невозможностью, а во-вторых, потому что своих девать некуда, плюс оттенки, полутона, интонации и тона. До чего дело доходит из-за такого избыточного богатства: допустим, Альбер Камю и в оригинале очарователен, но по-русски он выходит красочней и сильнее.

Правда, в наше время русский язык как-то выхолащивается, бледнеет, опрощается до общих романо-германских форм. Надо думать, придет пора, когда русак и француз будут в совершенстве друг друга понимать. То-то заживем душа в душу, если, конечно, на Руси к тому времени останется такое понятие, как «душа».

Главное свойство русского характера заключается в том, что он соединяет в себе все мыслимые человеческие черты. Вот и де Кюстин пишет под дорожными впечатлениями: «На каждом перегоне мои ямщики по крайней мере раз двадцать крестились, проезжая мимо часовен, и столь же усиленно раскланивались со всеми встречными возницами, а их было немало. И выполнив столь пунктуально эти формальности, искусные, богобоязненные и вежливые плуты неизменно похищали у нас что-нибудь».

В том-то вся и штука, что русский человек все может: может быть великодушным, бессмысленно жестоким, скрытным и, что называется, душа нараспашку, скардным и щедрым, вороватым, изобретательным, циником, безалаберным и себе на уме. Но это не то что русак Иванов циник, а русак Петров с утра до вечера себе на уме. Это означает, что русак Иванов в среду скарда, а в четверг щедр, а в пятницу вороват.

Кстати заметить, русский человек вороват не от природы, а, так сказать, исторически, поскольку у него исторически сложились отношения с собственностью, за неимением таковой. Ведь во всю тысячелетнюю историю России у него не было никакой собственности, даже на свою лачужку и на жену. Поэтому у него сложилось такое отношение к движимости и недвижимости, которое вьелось в генетический код: все ничье, все божье, от гвоздика до земли.

Однако организовать такой народ в общность, будь то колхоз или государство, неудобно и тяжело. Неустойчивое получается государство, если каждый из двухсот миллионов подданных одновременно великодушен, жесток, скрытен, циник, щедр... ну и так далее, тем более вороват. В сущности, неуправляемой выходит такая общность, если каждый член ее может все.

Русский человек разве что веселиться не умеет, по-настоящему, от души. Вот и де Кюстин пишет: «Тишина царствует на всех праздниках русских крестьян. Они много пьют, говорят мало, кричат еще меньше и либо молчат, либо поют хором, то есть тянут меланхолическую мелодию. Национальные песни русских отличаются грустью и унынием».

Что ты на это скажешь: народ мы точно невеселый и проказничать умеем, только крепко залив глаза. Карнавалов у нас не бывает, театрализованных шествий не заведено, на улицах у нас только нищие и пьяные поют, на клоунов, которые в Париже кривляются у магазинов, мы бы смотрели с сочувствием и тоской. Да, в сущности, и не было у нас случая научиться по-настоящему веселиться, потому что от века жизнь в России – преодоление и тяжкий труд.

По следующему пункту де Кюстину хочется возразить. Он пишет: «... русские, как я не раз отмечал, народ чрезвычайно красивый», кроме того, «в них проявляется врожденное изящество, какая-то естественная деликатность», но «красивые лица реже встречаются у женщин, чем у мужчин». Вот по этому пункту и хочется возразить.

Сдается, что напротив, – красивых русских мужчин вообще не бывает, если отправляться от романо-германской правильной красоты. Лица у наших мужиков бывают: мягкие,

родные, умные, тупые и обещающие беду. Может быть, в них и отпечатались бы акварельная славянская красота, кабы не водка, а также не отравленные пища, воздух, социально-экономические отношения, мысли, воспоминания и вода.

А вот русская женщина – как раз первая красавица на Земле. Среди деревенских красавиц точно не много, почему-то они у нас больше группируются в городах. Первый на планете город красавиц – Москва, второй – Питер, третий – Гавана, четвертый – Тбилиси... прочие места можно по патриотическому признаку разбирать.

В Москве же плотность красавиц чистой воды на квадратный километр площади настолько критическая, что, видимо, нигде нет такого бешеного числа влюбленных и насильников, как в Москве.

Наверное, это от Бога. Наверное, это такая компенсация России, за то что она несчастная, безалаберная страна.

Судя по тому, что писал о нас француз де Кюстин сто пятьдесят лет тому назад, можно заключить, что вообще национальный характер не константа, что он изменчив и подвержен трансформациям, как все, несущее в себе жизнь. Это все-таки не вода, которая и при царе Навуходоносоре была H₂O, и при Горбачеве она – вода. А национальный характер – живой организм и развивается так же, как развивается человек, который взрослеет, входит в пору зрелости, хиреет, стареет, а там, глядишь, и отправляется к праотцам.

Вот что писал француз... «У русских больше тонкости, чем деликатности, больше добродушия, чем доброты, больше прозорливости, чем изобретательности, больше наблюдательности, чем ума, но больше всего в них расчетливости. Творческий огонь им неведом, они не знают энтузиазма, создающего все великое. Горние высоты гения им недоступны».

Ну, точно это писано не про нас. С точки зрения современного человека, кажется, все исковеркано, все не так. Разве что мы точно люди утонченного склада, но редко деликатные, а в остальном все исковеркано и не так.

По второму пункту: русский человек как раз добр, он способен последнюю рубашку с себя снять, что в частном случае, что в пользу социалистического отечества, на дополнительный пулемет. Это романогерманец скорее добродушен вследствие чувства национального превосходства и в то же время эгоцентричен, как осьминог.

Третье: русский человек совсем не прозорлив, иначе он разглядел бы в большевиках людоедов, а в свободе слова – залог крушения всех начал. Вместе с тем изобретателен он безмерно, ибо именно мы подарили миру пропасть научных открытий и технических ухищрений и создали фантастическое государство – СССР.

Четвертое: в русском человеке ума палата, мы настолько умудрены, что отродясь не ходили «на совет нечестивых», и поэтому у нас всем заправляют набитые дураки. То есть именно расчетливости-то в нас и нет, ума девать некуда, а расчетливости нет как нет. Если бы мы были расчетливы, то регулярно ходили бы «на совет нечестивых» и в результате купались бы в материальных благах, были бы гарантированы от социально-экономической стихии и держали романтиков под замком.

Пятое: это нам-то неведом творческий огонь, энтузиазм, горние высоты гения?! Да только этим два последних столетия и живем! Французов в 1812 году разгромили в силу исключительно творческого горения, потому что ни одного сражения не выиграли, Москву сдали, до самой Калуги нас гнал француз, а в результате армия Наполеона сама собой растворилась в небытии. Молодые люди без определенных занятий у нас пятьдесят лет охотились на губернаторов и царей – разве это не горение, оно же энтузиазм? Или вот: полстраны в лаптях ходило, а провинциальный училища, обремененный многочисленным семейством и глухой, придумал, как долететь до планеты Марс.

А кто написал «Братьев Карамазовых», кто снял «Броненосца “Потемкина”», кто, наконец, выдумал телевидение на потеху всемирному мещанину и дураку? Между тем Пастер

творил на пару с Мечниковым, Паскаль, придумавший первую счетную машину, по умственной организации был русак.

Если бы в России не пили, то это было бы даже странно, потому что, живучи в России, не пить нельзя. Во-первых, русского человека бесит устоявшееся противоречие между европейским образом мышления и азиатским способом бытия. Во-вторых, жизнь у нас настолько тяжела, а главное, беспросветна, что разумнее всего ее как бы не замечать. В-третьих, климат: как тут не пить, если шесть месяцев в году у нас все снега да морозы, а три месяца в году живем по щиколотку в грязи...

Наконец, время от времени и развлекаться надо, а поскольку фестивали обжор, цеховые шествия и повальные танцульки у нас не привьются никогда, постольку оттягиваемся по принципу, выдвинутому еще Владимиром I Святým: «Веселие Руси питие еси».

Целое тысячелетие минуло с тех пор, как мы обрели сей принцип, и вот пишет французский путешественник де Кюстин... «Величайшее удовольствие русских – пьянство, другими словами – забвение. Несчастливые люди! Им нужно бредить, чтобы быть счастливыми. Но вот что характеризует добродушие русского народа: напившись, мужики становятся чувствительными и, вместо того чтобы угощать друг друга тумаками, по обычаю наших пьяниц, они плачут и целуются. Любопытная и странная нация! Она заслуживает лучшей участи».

Может быть. То есть даже скорее всего, что мы заслуживаем лучшей участи, ибо мы народ необыкновенно даровитый, тонкий, выработавший богатую культуру и общения, и вообще. Да уж больно жестоко обошлись с нами история и география, и мы по сию пору живем так бедно и безобразно, как в Европе давно не живет никто.

Но вот что интересно: в последние десять лет пить стали заметно меньше, по крайней мере, в мегаполисах и промышленных городах. Прежде, бывало, шагу нельзя ступить, чтобы не споткнуться о пьяного, а нынче за редкость повстречать ошалевшего от водки гражданина, точно невзначай все горячительное выпили на Руси.

Видимо, дело в свободе слова и частной инициативе; ведь раньше приходилось глушить в мозгу всякую неординарную мысль от греха подальше и, кроме как водкой и чтением, было нечем себя занять. Теперь же любой несостоявшийся алкоголик может свободно пролезть в Государственную Думу, навести несусветную критику хоть на Первое лицо или приобщиться к самому веселому и необременительному занятию – делать деньги из ничего.

По-прежнему, то есть жестоко, сейчас пьют разве что в заштатных городах, поселках городского типа и на селе. Тамошних мужиков понять можно: что остается делать, если последняя спичечная фабрика приказала долго жить, если украсть уже особенно нечего, если свобода слова крестьянину не нужна... Тут, конечно, запьешь, тем более что шесть месяцев в году все снега да морозы, а три месяца в году утопаешь по щиколотку в грязи.

Де Кюстину больше понравилась Москва, нежели Петербург. Он нашел «печать оригинальности на ее зданиях», его приятно удивили «независимость и свободный вид ее жителей», наконец, он открыл, что «в Москве дышится вольнее, чем в остальной империи».

Так и есть. Москва всегда была живее, веселей, как-то самостоятельней северной столицы, и, кроме того, старушке присущ некий исторический магнетизм. Недаром Москва так и осталась Москвой после того, как она утратила свое первенство, а Петербург превратился в областной центр. Все-таки искусственный город, именно что «умышленный», по замечанию Достоевского, как умышленным бывает выражение на лице.

Но не в этом дело. Любопытно, до чего живучи некоторые противоречия русской жизни, возьмем, опять же, контр между Москвой и Петербургом, которой скоро исполнится триста лет. Ведь петербуржцы по-прежнему и одеты иначе, и говорят по-своему, и даже у них физиономии не такие акварельные, как у нас.

Это автор клонит к тому, что мы до тех пор не изживем пьянство и прочие российские безобразия, пока не исчерпаем противоречие между европейским образом мышления и азиатским способом бытия.

В том отношении, в каком стройно и ладно бытуют немцы, французы, англичане, – в этом отношении русских нет. То есть вообще не существует монолитного великорусского этноса, объединенного одной культурой и языком, исповедующего единую систему ценностей и мораль. Разумеется, и между французами, принадлежащими к разным социальным слоям, наблюдаются некоторые различия, например, француз-рантье знает слово «денонимация», француз-винодел отнюдь. Но такого, чтобы в Шампани зачитывались Лафатером, а в Бретани церкви на кирпичи разбирали, – такого нет. Это в России в одном конце Москвы идет стрельба среди бела дня, на другом ставят балет из жизни эльфов, на третьем разбирают церковь на кирпичи.

Де Кюстин пишет на этот счет: де, крестьянская изба и салон вице-губернатора – «Камчатка и Версаль на расстоянии трех часов пути. Контрасты до того резки в этой стране, что, кажется, крестьянин и помещик не принадлежат к одному и тому же государству».

Более того, разница между служащим и крестьянином, жителем мегаполиса и жителем районного городка, курянином и пермяком, интеллигентом и вором у нас настолько велика, фундаментальна и, кажется, непреодолима, что невольно приходишь к заключению: русских нет. Есть служащий, проходящий под условным названием «русский», крестьянин, житель мегаполиса и районного городка, курянин, пермяк, интеллигент, вор – и каждый представляет самостоятельный народ, настолько же цельный и самобытный, как, положим, финны и лопари. И все-то у них разное: и язык, и культура, и система ценностей, и мораль. У воров вообще отдельное наречие – «феня», которое никакому русскому не понять.

Вот это так раскол, глубинный, принципиальный, перед которым меркнет раскол на ортодоксов и староверов, монархистов и бомбистов, интеллигентов и большевиков. Происхождение его, видимо, таково: на несчастье, мы освоили себе настолько необузданные пространства, что нет физической возможности распространить единое, общенациональное ударение на существительном «договор».

Оттого у нас с князя Мала порядка нет, что мы говорим на разных языках, что нам трудно договориться и понять друг друга вплоть до заключительного «прости». Вот как в чеховском рассказе «Новая дача»: инженер говорит крестьянам, что он их презирает за безобразное поведение, а крестьяне настырно понимают букву «е» в первом слове глагола «презирать» как букву «и», и у них выходит, будто инженер планирует взять деревню на пансион.

И, видимо, никогда у нас порядка не будет, ибо понятия о порядке-то у всех разные: горожанин видит корень зла в повальном взяточничестве, крестьянин в том, что колхозам долги не прощают, шахтеру не нравится живая экономика, пермяку Сталина дай сюда.

Одна надежда на нашего интеллигента, который, кажется, способен стать собирателем земли Русской хотя бы потому, что он и на Таймыре интеллигент. Эта надежда еще основывается на том, что нет существа более беззащитного, а между тем практика показывает: интеллигент есть самый живучий, неистребимый – даром что малочисленный – элемент.

Де Кюстин считал русских необыкновенно обаятельными людьми. «Выразить словами, в чем именно заключается их обаяние, – пишет он в своей знаменитой книге, – невозможно. Могу только сказать, что это таинственное «нечто» является врожденным у славян и что оно присуще в высокой степени манерам и беседе истинно культурных представителей русского народа. Такая обаятельность одаряет русских могучей властью над сердцами людей».

Ничего не скажешь, приятная характеристика, тем более что она исходит от человека, которому все не нравилось на Руси. Но не в этом дело, а дело в том, что, в сущности, обаяние русскости – это и есть Россия, во всяком случае, оно отличает все путное, что в ней

есть. Природа наша невзрачна, но обаятельна, и дооктябрьская архитектура наша скромна, но обаятельна, и обаятельна наша речь, бесцветная в фонетическом отношении, и безмерно обаятельно лицо природного русака. Но главное – чем-то обаятельна наша жизнь. И тяжела-то она, и бестолкова, и беспросветна, но вместе с тем есть в ней некая необъяснимая прелесть, которая, например, проявляется, как только два человека сойдутся попить чайку.

По этой причине трудно понять нашего соотечественника, который уезжает на жительство за рубеж. Русский человек так скроен, что он неспособен сосредоточиться на разнице между оптовыми и розничными ценами, а подавай ему сколько-нибудь возвышенный материал. И работать, как слон индийский, он не любит и не умеет, и привязанности у него беспочвенные, и есть душа, которая притом постоянно напряжена...

И вот сидит такой русачок, положим, на бульваре Капуцинов, а на три тысячи километров в округе ему не с кем попить чайку.

Нет, жалко наших эмигрантов; может быть, они отвыкли от стрельбы среди бела дня, может быть, у них денег куры не клюют, – и все же их почему-то жаль...

Может быть, одна из самых грустных сторон русского способа бытия заключается в том, что слово у нас много важнее дела, что оно, с другой стороны, представляет собой самостоятельную монаду и не соответствует вещи, которую ему положено отражать. Например, мы говорим – «Ленин», подразумеваем – «партия», говорим – «партия», подразумеваем диктатуру злодея и дурака.

Из-за этого разнобоя мы забрели мыслью в такие дебри, до того запутались, что уж давно не понимаем: кто мы, что мы, зачем живем?... Оттого и редко оправдываются наши чаянья, что мы воспринимаем три источника, три составные части марксизма как ключи от земного рая, а потом в лучшем случае получаем реформу календаря.

В Европе этой дистанции между словом и делом нет. Там если «деньги», так это деньги, а не мировое зло; если «глава администрации», так глава администрации, а не вор. Поэтому европеец адекватно оценивает настоящее и более или менее точно провидит будущее, даже если оно, так сказать, чужое, а не его. Вот сто пятьдесят лет тому назад маркиз де Кюстин писал: «Когда солнце гласности взойдет наконец над Россией, оно осветит столько несправедливостей, столько чудовищных жестокостей, что весь мир содрогнется... но не сильно, ибо таков удел правды на земле. Когда народам необходимо знать истину, они ее не ведают, а когда наконец истина до них доходит, она никого уже не интересует».

Как в воду глядел француз. Всего-то пятнадцать лет мы живем при гражданских свободах, а такое чувство, будто мы жили при них всегда. Вернее сказать, мы настолько охладели к демократическим формам, что нас давно не ужасает большевистская тирания, и нам так же безразлично всеобщее избирательное право, как погода на Соломоновых островах.

Это, наверное, потому, что на Руси существует фундаментальная разница между существительным «свобода» и свободой как таковой. Вот мы с самого Радищева, Александра Николаевича, лелеяли мечту о крушении самовластья и гражданских правах как решении всех проблем. Все нам казалось: перережем Романовых, упраздним цензуру, введем какую-никакую избирательную систему, и счастливый быт наладится сам собой. Сколько с тех пор крови пролилось, сколько жизней было отравлено, а в итоге что оказалось: что слово «свобода» мы неправильно понимали, что между воображаемым и действительным на самом деле такая же пропасть, как между однокоренными существительными «губернатор» и «гувернер».

Вот мы почему-то думали, что стоит освободить из-под надзора литературу, как закономерно вырвутся на волю новое «Преступление и наказание», другая «Война и мир». Не тут-то было. На поверку ничего особенного не выпорхнуло из писательских столов, так... обличения, запоздалые претензии, собрания матерных частушек и прочий филологический неликвид. Дальше – пуще: грамотную книгу стало невозможно издать, серьезные писатели

постепенно перешли на положение городских сумасшедших, а их место на всероссийском Олимпе заняли сочинители злой и малограмотной чепухи. И квалифицированный читатель куда-то подевался, судя по тиражам, – не исключено, что с горя ударился он в бега. Сидит себе сейчас в городе Бостоне и думает: свобода на литературном фронте есть прежде всего потачка дурному вкусу, то есть мещанину, то есть любителю клубнички и банальному дураку.

Вот мы почему-то думали, что стоит развязать руки журналистике, и под огнем нелицеприятной критики расточатся злоупотребления в центре и на местах. Не тут-то было. Оказалось, что злоупотребления сами по себе, а журналистика сама по себе. Оказалось, что еще никогда не замечалось на Руси такой вакханалии воровства, как при наших либералах, а журналистика в свободном виде предпочитает повествовать про гнусности и беду.

Вот мы почему-то думали, что стоит приобрести свободу шествий, собраний и организаций, как общество сразу нальется здоровьем и полнокровно, как-то грамотно заживет. Не тут-то было. Свобода организаций вылилась у нас в легализацию фашистов, сатанистов и желающих похудеть; свобода собраний – в карнавальные бдения совершенно по заветам профессора Ганнушкина; свобода шествий – в уличные бои. Но главное, счастья-то как не было, так и нет. Вот мы, наконец, думаем, как заблагорассудится, говорим, что хотим, поехать можем хоть к черту на кулички, хоть в город Бостон, а счастья как не было, так и нет.

Иной возразит: свобода – это не панацея от общественного нестроения и не средство от несчастий на личном фронте, свобода – исключительно инструмент. Мы на это замечание: никак нет! В том-то и дело, что свобода – не панацея, не средство, не инструмент. Свобода есть следствие; именно следствие известной житейской культуры, хозяйственного развития, определенных традиций, системы ценностей, морального багажа. Следовательно, свобода не завоевывается и не даруется, она – вытекает, как Нева из Ладожского озера, лето из весны, вообще следствия из причин.

Проездилис маркиз де Кюстин по России и вот собрался восвояси, к себе в Париж. Переправился он через Неман, вступил на землю Прусского королевства, и что же? – те же самые чувства его обуяли, которые так знакомы русскому человеку, когда он выбирается за рубеж.

Это поразительно, до чего подчиняет себе человека русскость, даже и диаметрального чужака. Ведь только полгода жил с нами француз, а уже и думает, и чувствует как русак. Мы, бывало, как пересечем границу сопредельного государства, так сразу нас зло берет и восхищение распирает, потому что в сопредельном государстве все – так, а у нас не так. Вот и маркиз де Кюстин туда же: «Никогда не забуду я чувства, охватившего меня после переправы через Неман. Прекрасные дороги, отличные гостиницы, чистые комнаты и постели, образцовый порядок в хозяйстве, которым заведуют женщины, – все казалось мне чудесным и необыкновенным». А ведь, повторимся, всего с полгода он с нами жил...

Де Кюстин и сам не понимал, как он успел до такой степени русифицироваться за полгода, что если не встречал по городам пьяных, ему было не по себе. Видимо, есть у России какая-то тайна, коли иностранца так способна околдовать беспутная и неопрятная наша жизнь. Может быть, тайна эта заключается в некоторых уникальных свойствах русского человека, как-то: в прямодушии, ничем не стесненной откровенности, в братской расположенности к первому встречному, выпуклости души... Иными словами, в том очаровании человечности, которое довлеет над нами наравне с пьянством и склонностью к витанию в облаках.

Или, может быть, дело в гипертрофированной силе духа (гипертрофированной именно за счет нашей материальной слабости), из которой вышли великая литература, музыка и театр.

А то эта самая тайна состоит в том, что русскость – это прежде всего художественность, которая у нас распространяется на все, от агротехники до судьбы. Ведь русский человек именно что художественно существует, сюжетно, по законам драмы и романтической повести, с коллизией и развязкой, точно он прозу сочиняет, а не живет. Возьмите хоть отца родного, хоть соседа по этажу: если он не горел, не сидел на нарах, не допивался до чертиков, не бегал от бандитов, не помышлял о самоубийстве из-за безответной любви, не мыкался по стране, не терял старой веры и не впадал в новую, не изобретал велосипед, не ночевал в стогу, никогда не рыдал на плече у случайной любовницы, – то нужно проверить его анкету, именно так называемый «пятый пункт»...

Неудивительно, что иноземца, который программно, незатейливо живет от первого «агу» до последнего «прости», поражает, очаровывает, исподволь покоряет этот бытийный стиль. Недаром, например, в Германии русской колонии не сложилось, а в России немцев было не перечесть. И все потому, что донельзя увлекателен русский человек в его художественной ипостаси, даром что в остальном он безобразник, бестолочь и вандал. Положим, завоюй мы, не приведи господи, какое-нибудь сопредельное государство, там через месяц выйдет из строя канализация, начнут проваливаться дороги, примерные газоны вдруг схватятся лебедой.

То есть в остальном нас не за что уважать. Вот мы в другой раз удивляемся, что Америка и Европа, чего ни коснись, априорно и заранее против нас. А что бы мы сами сказали о государстве, где бесследно исчезает каждый второй казенный рубль, автомобили не заводятся, спички не горят, милиция, в частности, есть товар, дороги непроезжие, продолжительность жизни приближается к среднеафриканской, взятки не берут только клинические сумасшедшие, государственные должности занимают уголовники, хлеб без молитвы не родится и все социально-экономические проблемы решаются при помощи топора? Мы бы сказали, что с таким государством дела иметь нельзя.

Тем более удивительно, что, наверное, нет на Земле народа более преданного своему отечеству, чем русские, которые к тому же принимают его всяким: и монархическим, и социалистическим, и демократически-воровским. Так еще относятся к родным людям: хоть ты алкоголик и скупщик краденого, а родной...

Разумеется, для культурного иноземца мы и любопытны, и непонятны, но чужие прежде всего до полного неприятия русского способа бытия. Вот де Кюстин пишет: «Когда ваши дети вздумают роптать на Францию, прошу вас, воспользуйтесь моим рецептом, скажите им: поезжайте в Россию! Это путешествие полезно для любого европейца. Каждый, близко познакопившийся с Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране».

Это точно, что в России жить нельзя, это еще Иван Сергеевич Тургенев вывел и записал. Зато интересно, остро интересно, как скрываться, противоборствовать и любить. Это точно, что «каждый, близко познакопившийся с Россией, будет рад жить в какой угодно другой стране», потому что по-европейски жить – значит отсутствовать программно и незатейливо от первого «агу» до последнего «прости», а по-русски жизнь – всегда преодоление и страда.

Оттого-то нам бессмысленно, непродуктивно равняться на Европу, что наша жизнь – это что-то совсем другое, как бывают другими планеты, измерения, времена.

Открытие России

К странному заключению приходишь на склоне лет: целая жизнь прожита в России, а что это за страна такая и что за народ ее населяет – в точности мы не знаем; вернее, знаем, но как-то отрывочно и скорее всего превратно, во всяком случае, было время, когда подрастающее поколение знало как дважды два, что это большое счастье – родиться в стране Советов, даже если ты проживаешь в Спас-Клепиках и кушаешь масло не каждый день. Видимо, нервно-патриотически настроенное государство, семья и школа нарочно искажали истину о России, полагая, что стоит русскому человеку своим ходом сообразить, что «король-то голый», как он, черт такой, сразу возьмется за дробовик. Так вот на склоне лет приходится открывать для себя Россию, как Христофор Колумб далекую Америку открывал, с ее картофелем, табаком и одной непристойной хворью. Занятие это неблагодарное, даже опасное, чреватое многими неприятностями – недаром Колумб кончил свои дни в болезнях и нищете – тем более что «Тьмы низких истин нам дороже / Нас возвышающий обман», тем более что за правдоискательство на Руси бьют, и пребольно бьют, – да уж очень заманчиво выяснить наконец, где и в какой компании мы живем, а там хоть на улицу без выходного пособия, хоть в клинику к Ганнушкину, хоть в Матросскую Тишину.

Итак...

О том, что Россия – исключительная страна и что быть русским, во всяком случае, интересно, мы слышим, наверное, лет пятьсот. И ведь, действительно, ничего нет выше нашей литературы; русская женщина – существо точно богоданное, неземное; стиль человеческого общения у нас высокодуховен, как литургия, и утончен, как субъективный идеализм; российский интеллигент, будь он хоть скотником по профессии, есть безусловно человек будущего... да вот, пожалуй, и все, только и благостыни нам от Бога, что литература, женщины, стиль человеческого общения да российский интеллигент. Не то что мало, но и не скажешь, что чересчур.

Какие возражения на этот уклончивый дифирамб может привести, положим, гражданин Швейцарской конфедерации... А в Швейцарии, предположительно скажет он, изготавливаются восхитительные сыры; часы повсюду показывают одно время; автомобили уступают дорогу пешеходам, а те, в свою очередь, переходят улицу в назначенных местах и лишь на зеленый свет; денег от аванса до получки, как правило, хватает, потому что швейцарцы ведут домашнюю бухгалтерию и ни за что не купят просто так ручного медведя, то есть только на тот предмет, что все же занятно держать у себя медведя; редко когда можно получить по физиономии от постороннего человека, которому не приглянулись твои ботинки; улицы подметаются, и оттого они уютны, как собственная квартира; таксисты обходительны и больше похожи на педиатров, ну разве что с ними не потолкуешь о смысле жизни; наконец, правительство как-то так грациозно управляет страной, что будто его и нет. Единственно то в нашей державе неладно, может быть, заключит швейцарец, что вкалывать приходится не за страх, а за совесть, просто все восемь часов трудового дня работаем, как волы. А мы ему на это: то-то мы все думаем, чего вы, ребята, скромничаете, не заикаетесь про великую Швейцарию, оплот мира и надежду прогрессивного человечества, – оказывается, у вас там все работают, как волы...

Швейцарец нас, наверное, не поймет, и это как раз понятно, точнее, понятно, но не совсем. В частности, не понятно, почему в зажиточной, благоустроенной и расцивилизованной Швейцарии люди не бредят манией национального величия, и буде какой политик невзначай обмолвился бы про великую Швейцарию, которой исходя из заветов Вильгельма Телля следует держать в струне окрестные государства, народ через референдум велел бы ему показаться у хорошего психиатра. Между тем эту страну и вправду отличает богатая

история, высочайший уровень жизни, фантастические, с нашей точки зрения, урожаи и такая бытовая культура, о которой нам приходится только грезить.

У нас же политики – от Ивана Грозного до Столыпина и от Столыпина до нынешних недотеп – талдычат про великую Россию даже в кругу семьи. И при этом никто не знает, что, собственно, в ней великого, разве что неистовые размеры, да вот Гренландия тоже громадный остров, в сущности, континент, и это только у французов «большой» и «великий» обозначаются одним словом, а в русском языке это, слава богу, понятия разные, и от «большого» до «великого» у нас считается далеко. Тогда, может быть, как-то по-настоящему величественной была история нашего государства?.. Действительно, три раза Берлин брали, во времена Екатерины II «ни одна пушка в Европе не смела выстрелить без соизволения Петербурга», так ловко подавили восстание китайских «боксеров», что у нас в Белокаменной даже составил свой музей Восточных искусств, изобрели множество полезных вещей и устроили у себя «диктатуру пролетариата». Да только, как всмотришься хорошенько во мглу веков, так сразу и станет ясно: довольно обычная история у России, не замечательнее датской или австрийской, знала она и победы, знала и поражения, а все началось с того, что отдаленные наши предки позвали к себе на княжение скандинавов, поскольку «земля наша велика и обильна, а порядку в ней нет», как сообщает летописец первоначального времени, то есть поскольку наши предки сами с собою были не в состоянии совладать. Что же относится до побед, то какие-то они все больше подозрительные победы: разгромили на Куликовом поле темника Мамай, но на другой год татары в отместку выгнали из столицы Дмитрия Донского и дотла спалили Москву, о чем не любят упоминать учебники истории; ордынцев перестояли на Угре при Иване III и в результате свалили-таки трехсотлетнее иго примитивного и сравнительно немногочисленного народа; небольшой отряд поляков учинил нам продолжительное Смутное время; со шведами двадцать два года воевали за отеческое болото; нашествие Наполеона действительно одолели, однако не одержав ни одной победы, а взяли французов несговорчивостью и мрачным своим упорством; турок побиили при царе Освободителе, но поморозив бесцельно целые корпуса, да еще по Берлинскому трактату оставила нас с носом сообразительная Европа; в так называемую «белую войну» оттягали у маленькой Финляндии город Выборг, правда, ценой неслыханной в мировой истории, положив пятнадцать родных душ за одну чужую; наконец, в Великую Отечественную войну немцы разгромили Красную Армию за две недели. Впрочем, так сложились наши геополитические обстоятельства, что мы стали хозяевами восточной части материка, едва заселенной тихими дикарями; впрочем, мы первыми прорвались в космическое пространство, но для этого пришлось разуть и раздеть народ, устроив ему среднеафриканский уровень жизни, благо другого он отродясь не знал; впрочем, мы охотно подавляли восстания у соседей, – восстания, собственно к России не относящиеся никак, и в результате на ближнем краю ойкумены нет более ненавидимого государства, чем наша святая Русь; впрочем, мы поставили величественный исторический опыт, с тем чтобы к восьмидесятому году XX столетия ввалиться в коммунистическую систему, как мышь в крупу, однако ничего похожего не случилось; впрочем, мы половину мира обратили в свою горячую религию, но, как потом оказалось, это была несчастная половина. Одним словом, если наша история и вправду величественна, по крайней мере, необыкновенна, так единственно тем, что она трагична, причем нелепо трагична, ибо она представляет собой цепь бессмысленных несчастий, испытаний и неудач.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.